

Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



Прямая линия

Владимир Маканин

Прямая линия (сборник)

«ЭКСМО»

Маканин В. С.

Прямая линия (сборник) / В. С. Маканин — «Эксмо»,

Молодой герой умирает «безгрешным» перед обществом, он сам по себе, он еще не наделал неизбежных житейских ошибок, и людям нечего спросить с его короткой жизни. Это – «Прямая линия». «Стол, покрытый сукном» – это те несколько дней, когда зрелый, состоявшийся мужчина обязан ответить за свою достаточно прожитую жизнь. Спрос с него будет нелегким. За «столом спроса» будут сидеть люди, которые по-своему видят его поступки, его страсти и страхи – его колебания и его жизненный итог. Читатель имеет возможность «прожить» как одну предложенную жизнь, так и другую. Может сравнивать и может предпочитать. Тем самым означать некий мысленный экзистенциальный выбор. В книгу мэтра отечественной прозы вошла раритетная дебютная повесть «Прямая линия» и повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», за которую писатель был удостоен премии Букер.

© Маканин В. С.

© Эксмо

Содержание

Прямая линия	5
Глава первая	5
1	5
2	7
3	7
4	8
Глава вторая	10
1	10
2	11
3	14
4	15
5	16
Глава третья	18
1	18
2	18
3	20
4	21
5	21
6	23
Глава четвертая	25
1	25
2	26
3	27
4	28
5	30
6	31
Глава пятая	33
1	33
2	35
3	36
4	37
5	38
Глава шестая	40
1	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Владимир Маканин

Прямая линия (сборник)

Прямая линия

Глава первая

1

Мы, Костя и я, шли по вечерней Москве. Шли на танцы. Я шагал вяло, утомленно и вспоминал голубые, как небо, дни. Их было немного, но они были. Это были первые наши дни на работе. В лаборатории. Я сидел тогда важный за своим рабочим местом, небольшим таким столиком, и вокруг стояли девять таких же столиков. Я сидел и деловито просматривал порученные мне расчетные бумаги... бумаги!.. Я просматривал их весь день, не выпуская из рук карандаша.

А они, принявшие нас в свою среду, говорили и все не могли налюбоваться на нас. Они разглядывали нас. «Володя, а скажи... Володя, знаешь ли ты?.. – восклицали, спешили они. И, даже сокрушаясь из-за моих частых ошибок, не сердились: – Ах, Володя! Как же это ты».

Я же сидел, уткнувшись в бумаги, и не без удовольствия слышал легкое, порхающее свое имя, как воздушный шарик, который они как бы перегоняли друг к другу.

Вмешивался Петр Якклич несимпатичным грубоватым голосом:

– Что вы нянькаетесь с ними? Пусть-ка впрягаются на равных! Пришли, понимаешь, здоровые, высокие, как столбы!

– Красивые, – говорила по-матерински Худякова, – молодые...

– Да бросьте! – перебивал Петр. – Они здоровы, как кони! Воду возить... Университетик, слава богу, закончили, поотдыхали там всласть.

– Завидуешь, Петр Якклич? – улыбался майор, которого мы окрестили «лысым майором» в отличие от другого майора нашей лаборатории, «угрюмого». – Завидуешь? – тонко улыбался лысый майор. – Боишься за свой стабильный успех у девиц? А?

Все смеялись, мягко так смеялись. А Петр Якклич, старый холостяк и любитель поговорить о драмах на танцплощадке, вдруг начинал горячиться:

– Я? Завидую? Да я такую зелень и в расчет на танцах не принимаю!.. А уж если говорить, то я, может, рад, что они к нам пришли! Морды ваши опротивели!

Все тут же старались замять, показать, что эта вспышка всего лишь случайность в маленькой их лаборатории – в нашей общей теперь лаборатории. Спокойствие превыше. И Худякова подходила ко мне сзади, касалась рукой моей головы, легко взъерошивая волосы:

– Володя! Что ж ты не причесываешься? Такой лохматый!

– А что? Очень плохо? – говорил я, не поднимая головы, не отрываясь от цифр.

Худякова стояла еще минуту сзади, смотрела на меня, потом вдруг вздыхала:

– Нет. Хорошо... Очень хорошо. Все в порядке, Володя.

Так они все смотрели на нас в те первые дни: как на мальчиков, пустивших только что по ручью свои кораблики. Они встретили нас в лаборатории очень тепло, очень дружески. Им всем было за сорок, и только Эмме – тридцать три.

С меня они переключались на Костю: теперь его хвалили вовсю, и его имя порхало, как воздушный шарик. Я подмигивал ему. Косте, однако, не нравились такие разговоры, и он обры-

вал их разом. Я не без волнения оглядывался: сойдет ли ему здесь его дерзкий голос, его независимая манера?

Я глядел в окна. Облака шли высоко, и солнце пушило их перья. Я глядел вверх и вполне реально думал, что мог бы полететь к ним, к облакам. И Костя мог бы. Такой вот я и был тогда. Такими вот мы и были, пока не навалили на нас пересчет.

В первые дни пересчет казался даже интересным: выдадут тебе листы 40х40, светлые такие листы, усиженные мелкими аккуратными цифрами, дадут параметры, и ты согласно этим новым параметрам переделываешь ход решения. Не торопишься, иной раз даже в задачу пытаешься вникнуть. Но оказалось, что первое время нам «не доверяли», а когда через месяц стали доверять, листы хлынули на нас как наводнение. Листы затопили семь рабочих часов с верхом, с головой, зажали обеденный перерыв – о смысле задач уже не было и речи, и даже тихо взвыть было нельзя в непрерывном стуке наших «рейнметаллов», наших счетных машин. Взвыть можно, но слышно не будет.

Сегодняшний день был особенно изнурительным. Выйдя из лаборатории и миновав двор, мы присели с Костей на ступеньках парадного крыльца – передохнуть, окончательно распорядиться вечером и заодно посмотреть, как движется масса народа. Это расслабляло, и мы иногда делали так.

Мы сидели на прохладных ступеньках около постового с автоматом, около лозунгов и плакатов. Плакаты были слишком близко, и смесь ярких, ярчайших красок, синих, красных, желтых, била в глаза. Костя и я сидели вне суетни: через парадное никто, кроме генералов, не ходил; мы отдыхали, а внизу – тремя метрами ниже ступенек – плыл с работы наш народ.

Народ шел толпой. Военные мундиры разбавляли аляповатые штатские краски. Пуговицы мундиров сверкали, будто позвонкивали о солнце.

– Идут... – сказал Костя. – Идут усталые, отяжеленные. Как штанги несут.

– Опять намек?

– Ты каждый день с кем-нибудь да сцепишься. Чего, спрашивается, сегодня ты не поделил с угрюмым майором?

– Не буду, Костя! Не буду! – заволновался я. – Я уж и так тише воды, ниже травы. Что я сказал, что я такого утром сказал? – начал было тараторить я, но Костя только махнул рукой и стал смотреть на небо. Он любил сосредоточиться на чем-нибудь нейтральном и красивом. Из нас двоих именно он писал иной раз стихи. Он их не заканчивал. Он писал только первые строки и говорил, что вся сила в первых строках, и называл это своим отдыхом. Он глядел на небо. Там, у самого солнца, плескались и кувыркались они, легкие облачка. Мы смотрели на них, а они на нас.

– Костя, – засуетился я. – Скажи первую строку – и пойдем.

– ...Тучки небесные, вечные странники... – мгновенно начал он.

– Потрясающе. Как ты придумываешь их так быстро?

– Талант... мать.

Постовой оглянулся, повел в нашу сторону автоматом. Это был молоденький паренек. Он, видимо, прислушивался к умному разговору младших научных сотрудников и никак не ожидал услышать последнего. На всякий случай он улыбнулся.

Костя вдруг вскочил и стукнул постового по плечу:

– Слушай, друг! Пойдем с нами на танцы. Пока мы как легкие облачка...

– Ну-ну! – сказал постовой и тут же доверительно расплылся в улыбке: – Я нынче не могу... Я, понимаешь, завтра...

– Жаль... Мы сейчас таких девчонок найдем. У тебя ведь есть штатское?

В голосе Кости скользнул холодок усталости, и я, испугавшись, что он раздумает, заспешил, затараторил:

– А что, Костя? Найдем! Увенчаем день!

Постовой улыбался и объяснял, что сегодня он слишком поздно освободится. Что никак нельзя сегодня, что вот завтра...

2

Билет стоил пятьдесят копеек, и Костя заулыбался:

– Видишь ли, Володя, все свои сто пять рублей я отдаю маме. А тут такая трата на удовольствие. На жалкое примитивное удовольствие! Это не для меня.

Все было ясно: у входа на танцплощадку, совсем рядом с нами стояли две симпатичные девушки. Я тоже пожелал быть замеченным:

– Костя, но не в деньгах же счастье.

И что-то я понес быстрое и нелепое. Костя поглядывал на черненькую с тонкими чертами лица; мы оба торопились, болтали, но девчонки не сказали пока ни слова.

Народу на площадке было битком. В зал, понятно, наши девушки вошли подчеркнуто впереди нас: мало ли какие красавцы могли броситься к ним, едва завидев в дверях. Но теперь, в зале, можно было их пригласить.

Они было станцевали с нами по разу и вдруг начали проявлять интерес к двум совсем молоденьким мальчикам. Костя еще раз пригласил, и черненькая еще раз ему отказала. При этом она оглядела его с ног до головы: дескать, ты что? Не понимаешь? Не видишь? Ее быющая в глаза юность имела право на это. Костя сник.

Он стоял, прислонившись к колонне. Высокий, красивый, он глядел на танцующих – умный, еще не оцененный, он смотрел на суетившихся людей. Именно так он смотрел. Он, Костя, работает, как пес, а мир в это время делает здесь, на танцах, черные свои дела, и вот он, Костя, пришел и смотрит на все это, а лучше бы не смотрел, не приходил.

Я напустился на него: я тоже понимал, что боги несправедливы, но не сошелся же свет клином на этих девчонках. Они тешат свою гордость, и он туда же! Найдем других, пусть поплоче. В конце концов, можно храбриться, обманывать как-то самого себя, но все-таки помнить, что мир не елка, с которой тебе снимут все, что ни попросишь. Конечно, девчонки очень красивы. Но мало ли красивого на свете – все не положишь в карман, да и зачем?

– Знаешь, Володя, это все-таки не для меня, – просто сказал Костя.

– Неужели?

– Да. Как ножом по стеклу. Натянутые знакомства, шуточки, приглашения...

– А тебе обязательно знакомство в двухместном вечернем купе? Тебя, милый, баловали слишком!

– Я не жалею об этом!

Мы замолчали так же разом, как и вспыхнули. Стояли, прислонившись все к той же колонне, которая была много выше и много спокойнее нас и с высоты смотрела, как несется по залу бурлящий поток танцующих.

Толпа колыхалась, двигалась, дышала. Две «наших» девушки танцевали прекрасно. Их юнцы держались, как и подобает держаться победителям. Костя смотрел на них, на их сверкающие рубахи; на нас тоже были белые рубашки, но эти рубашки знали воздух нашей лаборатории. И не один день.

3

Я хотел было сказать Косте, что эти ребята скорее всего их одноклассники. Небось нахамили химичке или кому там еще можно нахамить в школе и теперь ходят в героях. Небось первая любовь! Так приятно было свалить неудачу на что-то красивое и заодно объясняющее.

Но Костя не замечал ни других, ни меня. Он глядел на танцующих, уже не разбирая лиц, как на быстром перекате реки, когда смотришь на дно, на мозаику ярких камешков.

Я закурил с досады, хотя курение здесь не поощрялось.

– Ну? Как тебе скачки? А?.. – спросил малый, у которого я прикурил.

Он был весел, и что-то ошалелое и счастливое увиделось мне в его лице. Я завистливо смолчал и пошел бесцельно бродить по залу. И вдруг отделенно и разом увидел девушек. Они шли к выходу. Они были очень заметны среди суесящихся пар.

Еще во время танца я как-то выудил, что черненькую, которая понравилась Косте, зовут Светланой, а беленькую – Аделью, что они кончают школу в этом году. Одиннадцатый класс. И это все, что я знал о них. Они стояли на ступеньках, глядели в вечерний полумрак и сладко-сладко дышали. Света принялась прыгать и никак не могла достать бумажный фонарик. Фонарик висел у входа – она только задевала его пальцами, и он вращался. Потом неумело прыгнула Адель, и обе дружно расхохотались и стали обниматься в избытке девичьей радости... Минуты три я смотрел на них, приостановившись. Было что-то обаятельное в их взрослых женских прическах, в их манерах, улыбках. В том, что эти девушки пришли на танцы, покружились, поулыбались, отказывая кому-то и кого-то поощряя, повернулись и вышли. Вышли дышать прохладным воздухом, и смеются, и не торопятся, и ни до кого им нет дела...

Я выскочил из засады. Они теперь с увлечением говорили о двух шикарных машинах, стоящих у входа. «Вельможи какие-то. В парк прикатили!» – раздраженно отметил я.

Я сорвал им бумажный фонарик и, играя в игру, сказал:

– Посмотрите, вечер какой! Красота!

– Да-а... – неожиданно вздохнули они обе сразу.

Вечер был хорош, тут они не могли не согласиться.

Слишком хорош. Деревья, облитые теплой ржавостью фонарей, были как подожженные. Я вдруг понял, что мне нельзя чувствовать этот вечер и эти деревья. Я даже испугался: еще немного, и я не сумею выдать из себя ни слова. Онемею, как Костя. Я бросился в атаку:

– Поедьте как-нибудь в университет на вечер. Не бывали там? Ну-у?.. В любой день!.. Честное слово, мой друг – замечательный парень. Или вот что: приезжайте к нам домой. У меня завтра день рождения – потанцуем вволю. А музыка чудо!..

Адель сделала подозрительную гримаску:

– День рождения?.. Вы бы что-нибудь еще придумали. Посвежее.

– А если день рождения! – возмутился я, лихорадочно припоминая, какое же завтра число. – ...Но у нас и еще праздник, – заспешил я. – Еще один праздник. Товарищ купил машину... Обмывать будем. Не такая, конечно, шикарная. – Я махнул рукой в сторону стоящих у входа машин.

– Костя? – спросила Адель.

– Нет, другой товарищ. Третий... – Я струсил непонятно отчего: уж врать так врать.

– Не понима-а-ю, – сказала нараспев черненькая Света. – Нам еще одну девочку приглашать? Или как?.. Может быть, весь класс пригласить?

И они захихикали.

– Нет-нет. Нас только трое... – кляня себя, заговорил я. – И у него, третьего, своя девочка... то есть не своя, но... в общем, третья уже приглашена, – кое-как вывернулся я.

На мгновение, как бы последний раз взывая ко мне, фонари погасли, и снова вспыхнул свет, вспыхнули сгустками застывшего пламени деревья. Но я уже привык не смотреть на них.

4

– Понимаешь, в чем дело, – заговорил Костя, когда я к нему подошел. – Нам не везет, и это закономерно. Я отыскал причину. Я довел мысль до конца. – Костя говорил неторопливо,

с большим весом в словах. И все так же опирался о колонну, будто это величественное сооружение помогало ему величественно думать. – Нам не везет, потому что мы хватаемся за самое лучшее. Почему я выбрал эту девушку? Смешно так спрашивать, и все же почему? А скажи, почему ты в начале года влюбился в Эмму? Почему именно в Эмму? Разве не было других?

– Уж и влюбился, – быстро ответил я.

Он взял у меня сигарету:

– Разве нет? Я бы на твоём месте не говорил так пренебрежительно. Пусть это была неудача... Так как же?.. Почему именно Эмма?

– Ну не Зорич же. И не Худякова. Они же бабушки, Костя.

– Понятно. А почему не из другой лаборатории? Почему именно эта великолепнейшая женщина?

– Ты же говорил, что она тебя не возбуждает.

Костя фыркнул: что, дескать, толковать с человеком, который только и делает, что увиливает от вопроса.

– Все оттого, что есть в человеке качество: убить зверя – так льва! И качество это, Володя, нужно развивать. Будет не везти, будут ошибки, неудача за неудачей, зато уж побед своих мы будем достойны.

– Понимаю...

– Судя по улыбочке твоей, не понимаешь. Но ты поймешь. Убить зверя – так льва. Нет хуже того, как вдруг осознать, что твоя победа унижает тебя... А эти девушки, – он вновь фыркнул, – они лишнее подтверждение.

– Эти две тебе понравились? – спросил я как можно небрежнее.

– Еще бы! – Он смело и насмешливо смотрел на меня, давая понять, что он не из тех, кто скрывает свои поражения.

– Ну так завтра они будут у меня в гостях. Вечером... Приходи, если хочешь. Вот их телефон.

Он смолк. Миг, и с изречениями было кончено. Все спряталось, и на лице осталось лишь то холодноватое выражение, за которое девочки нашего курса прозвали его в университете «сын князя». Он ровно секунду был поражен.

Он переспросил уже небрежно и шутливо:

– И ты не поступился гордостью? Для меня это важно.

– Нет! Нет! Честное слово! – врал я, и сиял, и был счастлив оттого, что чем-то помог нам обоим и что вечер сегодня как-никак с удачей.

Танцы кончались. Мелодия вздыхала и долго, расслабленно сходила на нет. Мы все стояли у белой колонны, смотрели на оркестр. Музыканты на своем возвышении дули из последних сил. Сидели, распрямив спины, закрыв усталые глаза, как увековеченные египетские фараоны. Мелодия все вздыхала. Утомленные поиском, склонившись друг к другу, люди плыли в волнах музыки.

Глава вторая

1

То, чем занималась наша маленькая лаборатория, требует пояснения. С одной стороны, это была научная работа: *задача два* или, скажем, *задача три по теме один* – так они назывались. Задачи эти возникали из опытов, проведенных где-то далеко от нас: из этого опыта кем-то уже было очищено, отшелушено все, кроме математической проблематики, поэтому никакой секретности задачи не представляли. Когда задача у нас была решена, результаты отсылались в научный центр, где задачу вновь и уже непосредственно связывали с опытом, из которого она и возникла; там задача уже называлась по-другому, и касательства к ней мы уже не имели. Мы – это наша лаборатория... Как всегда, вел одну тему Г. Б., наш начлаб, и вел другую старик Неслезкин, его зам. Все остальные, кроме нас с Костей, были прикреплены к этой или другой теме, к той или другой задаче.

Техническая сторона работы заключалась в пересчете. То есть задачи, решенные тем же самым Г. Б., Петром Яккlichem или угрюмым майором, после испытаний, проведенных где-то далеко, оказывались не вполне подходящими. С испытаний присылали новые параметры, то есть давали некоторые поправки, и просили пересчитать задачу в этих новых условиях. И так до окончательных испытаний. Эта сторона работы была почти бездумной и никому, разумеется, не нравилась. Кроме того, это была на редкость изнурительная работа. Так вот, три четверти пересчета или немногим меньше делали Костя и я. Остальным давалось всего по двадцать-тридцать листов еженедельно в виде нагрузки. Г. Б. пересчетом не занимался вовсе.

Был уже как бы естественно установившийся порядок дела; нас приучали к ремеслу. Мы намекали не раз и не два, но нам говорили: «Потерпите. Не спешите. Поработайте». А время шло... Петр начинал спорить с Зорич о преобразовании формулы какого-нибудь «лагранжиана Л-14». «Да, нельзя, Петр Якклич. Не решается так», – спокойно чеканила старуха Зорич. Ее манера говорить еще больше раздражала Петра: «А я говорю: решу!» Тут уж все оборачивалось к их столикам, к их спору, потому что Петр начинал заводиться и рычать: «Ни хрена не понимаете и понимать не будете! Вы робки! Вы как девочка! А ведь сильно за пятьдесят, слава господу!» Ему внушали, но он кричал:

– Неважно! Неважно, как я выражаюсь! Володя! Принеси-ка задачу о мембране, будь добр!

И Володя Белов, то есть я, шел к шкафу, чувствуя свою обделенность, или даже бежал в кабинет Г. Б. и извлекал из того шкафа задачу о мембране, и руки мои тряслись. Я, конечно, заглядывал туда мельком, но что увидишь мельком?

Однажды мы почувствовали все это слишком остро. Тогда как раз появились работы Честера и Шритт-майера, двух молодых американцев, которые бурно решали задачи, близкие к тем, над которыми работала наша лаборатория. На заседании лаборатории Г. Б. бранил Худякову, которая уже месяц как взялась за них и ничего не сделала. Мы с Костей впервые услышали об этом: не переглянувшись даже, мы вдруг начали ругаться, объяснять, требовать задачи. И то, что американцы были тоже молодые, и то, что их было двое, а главное, что были, лежали, существовали чистенькие, нетронутые задачи, – все это крайне взволновало нас... Однако Худякова стала клясться, что она просто «забыла» и что она наверстает. Она боялась, что ей добавят пересчет, который пришлось бы частично снять с нас. Худякову поддержала Зорич. Она сказала, что Володя Белов и Костя Князеградский подождут, потерпят немного. Она улыбнулась нам, и вопрос, в сущности, был решен. Она умела так улыбаться и так влиять.

Мать большой семьи с больными и неудачниками, Худякова работала в полную силу лишь периодами. Болел сын, и ей уже ни до чего не было дела. Интересовало лишь время, свободное время, чтобы поспевать меж домом, больницей и магазином. Все это мы усвоили позже. А после того заседания, когда Худякова, довольная, бог весть зачем рассказывала, как она сегодня ехала без билета и как бежала от контролера: «Представляете, такая солидная и дула стометровку», – я не сдержался и сказал:

– Вы бы все-таки взяли Шриттмайера. Опять забудете.

Она оглянулась: нет ли близко Г. Б.?

– Почему это я забуду, Володенька?

Лысый майор, любитель шуточек, корректно поддержал:

– Она боится потерять в электричке.

– Надо как-то помочь человеку, – вполне серьезно продолжал я.

Костя подхватил:

– Действительно. Что можно придумать, чтобы человек прочитал работы? Как помочь человеку?

Мы говорили и шутили, будто Худяковой не было рядом. Этот способ шутить мы принесли с университетской скамьи, и он прижился. Мы говорили о Худяковой в третьем лице. Мы рассуждали. Мы беспокоились очень. А она только успевала переводить взгляд с одного лица на другое. Потом я тихо и проникновенно спросил ее:

– Хотите, я буду вам напоминать, чтобы вы не забывали о задачах? Каждое утро?

И среди хохота самый настоящий испуг вдруг появился в ее добрых глазах, и уже на другой день она столь же пылко невзлюбила меня, сколь восторженно принимала раньше. До этого случая она нянчилась со мной больше всех. Радовалась при моем появлении, повторяла, что я похож на ее больного сына, и почти привычно любила взлохмачивать мои волосы. «Ах, Володя!...» – не сходило с ее губ.

2

Что было еще?... Скажем, возвращался с полигона умница угрюмый майор. Туда посылали именно его, по крайней мере, за этот год он ездил дважды. Помню, как здесь уже лежал снег, а он вышел из вагона к нам, встречавшим, и передал трем нашим женщинам три огромные грозди винограда, и самая огромная, фантастическая, досталась Эмме. Если испытания были удачными, все делались радостными, милыми, даже Г. Б. был не так строг и сух. Г. Б. заходил к нам, смеялся и был почти как все, и не так заметно веяло от него мрачноватым одиночеством кабинета. Все болтали. Костя уверенно и спокойно расспрашивал угрюмого майора, как там и что. Он именно спокойно расспрашивал, хотя думал и чувствовал то же, что и я. А я стоял в стороне и не сводил с рассказчика глаз, не мог сказать ни слова, и, видимо, глаза мои так горели, так были нацелены на такую вот восточную командировку по задаче, решенной именно мной, что некоторые подталкивали друг друга и с улыбкой показывали на меня пальцем: экий, дескать.

Когда на меня указывали пальцем, я не знал, что сказать. Я отходил к своему «рейнметаллу», пересчитывал и в треске «рейна» уже ничего не слышал. Я старался помалкивать. Уж и без того лысый майор частенько подтрунивал надо мной, и Зорич говорила, что я хитер, себе на уме и еще много-много такого. Даже смешно. В детстве они бы мне этим польстили. Помню, в тот голод... первоклассник... да, так и было... я нарвал тогда на пригорках дикого чеснока. Я нарвал его много, целую охапку, и мне тут же захотелось его съесть. Я лег на землю и глядел на ослепительно-зеленые, а иногда ярко-желтые пригорки. Они были для меня горами. Впрочем, неважно.

Были еще наши с Костей шутки, которые всегда приписывались мне. Вот одна. Казалось бы, посмеяться над культом комиссий и заодно над преувеличенной застенчивостью, секретностью нашей маленькой НИЛ сам бог велел. Но смешного получилось мало... Я, бывший тогда на побегушках, был «откомандирован» в хозяйств – получать бумагу – и позвонил оттуда по телефону. Трубку поднял Костя, и шутка родилась: «Да? Комиссия? Из первого отдела? – вдруг начал спрашивать он громко и серьезно. Он отлично сыграл роль. – Хорошо, хорошо. Мы, конечно, готовы. Полный порядок!.. Приходите: мы всегда рады комиссии», – говорил Костя, а рядом с ним все уже кинулись к столам, стали рыться в папках, убирать валявшиеся бумаги в портфели и вытряхивать оттуда ссохшиеся булки... И только через полчаса вернулся я и сообщил, что встретил сейчас генерала Стренина...

– Ну и что? Как?.. Сказал он что-нибудь о комиссии? – заговорили, спрашивали со всех сторон.

– Да, – ответил я, – представляете? Он хотел послать к нам комиссию! Я еле отговорил его.

– Хамство какое! – сказал небрежно маленький человечек Володя Белов, которого генерал не знал, не мог и не хотел знать. Я сказал им это как можно безразличнее. И до самого вечера они волновались, переживали, придет ли комиссия, а когда уже поняли, что не придет, – смотрели на меня с каким-то неясным чувством.

Но всего больше я понял свою неспособность после другой шутки. Она оставила долгий и щемящий осадок.

Был конец рабочего дня, и все наши болтали о дне рождения генерала Стренина. О том, что хорошо бы написать ему поздравительный адрес и, может быть, подарок сделать. Стренин, конечно, бывает резок, грубоват, но все-таки Стренин сильная личность. И ведь наша лаборатория всего лишь песчинка в организации, которой он руководит. Самая маленькая виноградинка в той грозди, что привез майор Эмме.

Мечтали они, разумеется, просто так: день кончился, адрес и подарок запоздали, да ведь и усилия нужны, чтобы их сделать. С утра и не заикались о генерале, но сейчас, когда уже отвлеклись от дела и оттаяли перед уходом домой, когда время не торопило и работа не висела, почему бы и не поговорить, не помечтать? Ведь так славно было бы с адресом. Пусть бы даже без подарка, ведь маленькая лаборатория... Как славно бы! Ведь генерал, как все люди, – человек...

В комнате даже шумно стало от восклицаний. И вдруг я вспомнил, что сегодня и Костин день рождения. Я сказал, и все обрадовались. Эмма воскликнула:

– Ой, как неудобно! Ведь Костя вчера напоминал. Сказал, что скоро праздник введут – двадцатое апреля.

Все заулыбались, заговорили, что Костя молодец, талант... Кто знает, может, когда-нибудь и введут такой праздник.

Вот тут я весело завопил:

– Костя! Я ведь обещал сегодня две бутылки вина!

Костя встал, сказал энергично:

– И ты принес их! – Он указал на мой раздутый портфель. – Итак, товарищи, сегодня мой день, а не генерала Стренина. Мой, и я волен распорядиться этими бутылками. Мы выпьем их здесь, в лаборатории, и за меня!

– Здорово! – воскликнул Петр Якклич. Глаза его заблестели.

– Что за вино? Грузинское? – спросил Костя.

– Грузинское! – завопил я в боязливом восторге.

– Отлично. Ты не жаден. Ты, кажется, настоящий друг. Ура, товарищи: всем по неполному стакану. Петр Якклич, сходи за посудой. Ты ведь признанный мастер уламывать девушек.

Петр оглядел всех:

– А что? Неплохо, дери меня черти. Бегу, Костя! Бегу!

И он ринулся в буфет этажом выше. Он хлопнул дверью, и вся лаборатория заговорила, загудела:

– Отлично!

– Жаль, только две бутылки...

– На десятерых?

– Дело не в количестве, товарищи.

– А что, Костя? Может, и в самом деле символично, что со Стрениным в один день, а?

Так сказать, природа дает смену.

– Быть ему генералом!

– Что вы мелете? Костенька в десять раз симпатичнее!..

Шумели все. После тяжелого дня выпить нечаянный стаканчик, посмеяться – разве плохо? Молодец, Костя! Выпить и почувствовать себя вдруг вместе со всеми. Выйти на улицу, балагурия... И пойти по домам, постепенно прощаясь.

Ворвался Петр, сияя лицом и принесенными стаканами. Эмма обдала их из нашего общего чайника водой, вытерла по одному:

– Это тебе!.. Это вам, Валентина Антоновна: чист, как кристаллик.

Кто-то распахнул окна и воскликнул: «Э-эх!» Остановить все это было уже невозможно. Хаскел, склонив черную с проседью голову, развертывал остатки завтрака. Снял с хлеба матовый полумесяц сыра и держал в тонких пальцах. Положил на острые края прозрачного химического стакана. И солнце, отскакивая от окон, закружилось, закувыркалось в стакане.

Больше я не мог выдержать. Я схватил портфель.

– Стой, стой! Володя, не трожь пока бутылки! Не начинай! – закричал вдруг угрюмый майор. – Стойте. А что, если Стренина! Позвать на минутку? А? Великолепно?!

– Мало вина, – быстро сказал я. – Неудобно будет.

– Ерунда, – заявил Костя. – Зови. Мой день рождения или не мой?!

– При чем здесь вино? Это повод только! – Угрюмый майор широко улыбнулся. – Пусть он почувствует, что мы рады ему. Это лучше всякого подарка: это честно! Пусть посидит рядом с нами, а? Генерал, большой человек, и мы, – все вместе. Я иду!

Он пошел. В звуке его четких шагов, в фигуре, затянутой в ремни, в угрюмом его лице вдруг увиделось столько священного уважения, столько любви к генералу, что все заговорили: «Позови! Пригласи!..»

– Даешь генерала! – кричал Костя.

Тут я не выдержал и выбежал в коридор, моргнув ему. Он тут же вышел.

– Бежим, Костя! – сказал я, задыхаясь.

– Идиот, – спокойно бросил Костя. – Сейчас только и начнется самое интересное. Что у тебя в портфеле? Брюки?

Но я вцепился в него и потащил по коридору.

– Брюки в хим... в химчистку, – лепетал я. И тянул его за руку, не желая слушать. – У тебя есть деньги? Я сбегаю, куплю.

Нашлось у нас только пятьдесят копеек. Поторчав десять минут перед гастрономом, мы пошли домой. Я смеялся, а сердце ныло. Дело в том, что я любил этих людей. И не вернулся я не из трусости: я не мог видеть сейчас их лица, те самые лица, которые только что были счастливы от такой маленькой, мизерной радости. А если бы вернулись, вполне возможно, что все обошлось бы смехом. Костя был прав.

Но мы сбежали, мы пошли домой, и на следующий день Косте пришлось меня спасать. Хотя угрюмый майор и не привел генерала (тот уже отбыл) и конфуза, в общем, не случилось, шутка тем не менее была признана «незаконной»: меня собирались вышвырнуть на растерза-

ние Г. Б. Тогда встал Костя и заявил, что шутка была его, Костина. Он знал, как спасать: его любили.

Костя улыбался уголками губ – и шутливо и многозначительно.

– Я был просто вне себя оттого, что вы так мило вспоминали день рождения генерала, – говорил он. – А почему, спрашивается, не вспомнили, не приветили меня? Очень странно. И обидно...

Я восхищался им в эту минуту. Ему простили. Ему не поверили, но все же громоотвод сработал.

3

Любая «законная» шутка у нас приветствовалась. Это было в начале года, когда я был до беспамятства влюблен в Эмму. Я тогда буквально ошалел. И оказался, разумеется, в центре внимания всей лаборатории.

Стоило мне подойти и застыть около Эммы, как все устраивали себе нечто вроде общего перекура. В самом деле смешно: длинный парень среди рабочего дня уныло и влюбленно стоит около красивой замужней женщины. Стоит и несет какую-то настойчивую чушь о цифрах, о формулах, лишь бы говорить, лишь бы за что-нибудь зацепиться и не уходить от нее.

– Ты не устал стоять? Может быть, присядешь? – спрашивала наконец с мягкой улыбкой Эмма, и все воспринимали это как начало спектакля.

– Садись! Располагайся! – кричали со всех сторон.

Петр говорил:

– Ей-ей, Володя, мне ничего не стоит. Я готов. Я перенесу твой стол туда... поближе. Только скажи!

Вступал лысый майор:

– Володя. Ты их не слушай. Давай-ка по существу: ты, разумеется, представляешь себе иногда встречу с Эммочкиным мужем?.. Удостоишь ли ты его объяснением? Или же нет?

– Не знаю! – бросал я, и не слушал их, и не уходил от Эммы.

– А нужно бы знать. Всякое незнание, хотя бы и косвенно, вредит нашему общему делу.

Я знал, что надо мной смеются и что я должен отойти и сесть за свой стол. Но, упрямый, обозленный и в то же время размякший, я не мог сделать даже шага... Их шутки состояли в основном из перефразировки моих же реплик. Когда я только пришел на работу, я в первый же день много и высокопарно наговорил об общем деле, об общих трудовых буднях и т. п., и теперь в свете моего бесконечного простаивания каждое напоминание об этом вызывало взрыв хохота. А я стоял, стиснув зубы, и смотрел, как Эмма что-то неторопливо чертит в левом углу ватмана. Она поднимала на меня огромные свои глаза, в которых плавали теплые и милые смешинки.

– Ну иди, ну хватит. Постоял сегодня, и хватит, Володя.

Петр торопился, кричал:

– А ты, парень, должен выяснить свое чувство! Чтобы не путалось оно на нашей дороге трудовых буден! Давай сегодня же сходим к Эмме, к ее мужу и поговорим начистоту.

– Вечерком, а? – огрызался я.

– Вот именно! Да ты не пугайся: посидим у них, покурим. Курящий мужчина ничего не боится. Если честно прийти, муж не рассердится... А у них приличная квартира, детей нет. Библиотека хорошая! Книжки почитаешь, романчики... Эмма, ты не против?

И все смеялись. Не воспользоваться на нашей гоночной работе такой отдушиной – просто грех! И Эмма смеялась, а я, обалдевший от любви, смешной, встрепанный, с воспаленными глазами, огрызался и сам лез под шутки, сам насккивал на такие перлы остроумия, что все хохотали как сумасшедшие. И, задыхаясь, кто-нибудь говорил:

– Тише! Г. Б. зайдет!

Костя бранился, когда мы вдвоем отправлялись обедать:

– Да возьми ты себя в руки! Над тобой, как над дурачком, потешаются!

Я понимал, что он прав, что я огрызаюсь, а шутки от этого только вспыхивают, что я будто качусь под уклон и каждое судорожное движение только вредит мне. Я говорил Косте – единственному человеку, который защищал меня:

– Поглупел я... Ты и не представляешь, как поглупел. Ничего не могу им ответить. У меня либо издевка на уме, либо...

– Понимаю, – говорил Костя, морща лоб от невозможности как-либо помочь. Он понимал: человек, оторвавшись от говорливых студентиков и студенток, первый раз в жизни увидел женщину. Увидел красивую женщину не в кино, а живую, в трех шагах от себя. Увидел прекрасную женщину, и она иной раз ласково с ним говорила.

А после обеда Петр вошел и объявил на всю лабораторию, что, взвинченный слухами, пришел муж Эммы и наши майоры только что козырнули ему на лестнице. Что муж уже в коридоре и сейчас войдет. Что он разъярен и ищет Эмму. Все расхохотались. Шутка как шутка.

А я, встрепанный, заметался по комнате и спрашивал у них: «Что делать? Что же делать?! Да скажите же, что мне делать! – И кинулся к Эмме, и, глядя в голубые глаза, заговорил: – Это ничего... ты не бойся! Пусть придет, я беру на себя... Ты только не бойся. Ты ничего-ничего не бойся...»

Я попрощался, я как бы решил, что все кончено, прикрыли мое красивое кино, и ладно, и спасибо. Все поняли, что это уже слишком. Заговорили: «Успокойся... Это же шутка, Белов! Перестань! Нужно же понимать шутки. Сам любишь посмеяться. Да успокойся же!» – кричали они, перебивая друг друга. Костя подчеркнуто жестким голосом объявил Петру, что за следующую шутку Петр будет расплачиваться «натурой», и сам Петр, расстроенный, подошел ко мне. Прошли еще две долгие минуты, и, очнувшись, я вдруг закричал, что позвоню из автомата Петру и скажу, что его ребенок попал под трамвай.

Петр был жизнерадостный холостяк, у него не было детей, но я ничего не помнил.

4

Костя предлагал не один раз: «Останемся вечером и выберем себе по задаче. Что ж нам, смеха ради выдали секретный допуск?» Я отказывался, и Костя упрекал меня в робости. Но он и сам понимал, что работать вслепую, не зная, понадобится задача или нет, не дело. Костя упрекал меня больше от раздражения, а я все надеялся, ждал, что однажды Г. Б. сам вызовет нас к себе в кабинет и скажет: «Вы хорошо потрудились, мальчики. Не пора ли вам взять самостоятельную работу?... Не против? Я лично хотел вам предложить...» – и так далее. Это «и так далее» рисовалось в самых радужных красках: тут были и задачи, и поездка на полигон, и та гроздь винограда, которую угрюмый майор привез Эмме... И я возражал Косте, что вдруг Г. Б. предложит нам совсем другие, какие-то самые нужные задачи. Как быть тогда?

Дело в том, что я благоговел перед Г. Б. Перед человеком, на чьи нечастые лекции я бегал еще в университете и в чью лабораторию попасть казалось сверхудачей. Я помнил, как первый раз вошел к нему в кабинет. Тогда от робости и благоговения я вообще ничего не видел, не понимал. Кабинет – уединение Г. Б. – поразил меня в тот день ярким солнечным светом, массой научной литературы на полках, разбросанными по столу журналами. Это был мой первый день на работе, и я стоял в кабинете Г. Б., как стоят в храме.

– Тебя зовут Володей? – было первое, что сказал он тогда.

И он улыбнулся очень приветливо и, улыбаясь, оставался все тем же, строгим, грозным. Потом он произнес снисходительные слова, которые, видно, не хотел бы говорить, однако считал их для меня обязательными: «Теперь ты в этой лаборатории... Лаборатория маленькая,

можно сказать, крошечная... Но мы связаны с важным делом... Мы связаны с полигоном. Там проводятся испытания. У них своя организация, прекрасные научные силы, но кое-что делаем для них и мы», – укладывались одна к другой ровные весомые фразы.

Г. Б. говорил и поглядывал на меня. Я спешно кивал: «Да, понимаю! Понимаю!..» Я стоял напряженный, как струнка, замирающий от его слов, и каждая фраза была для меня посвящением.

Г. Б., видно, пожалел меня. Побоялся, что я не выдержу и упаду. Разом сбив патетику, он сказал насмешливо:

– Работаем мы пока неважно. Из пяти опытов – три неудачных. Фейерверк!.. Мы называем это «сжиганием миллионов», – Г. Б. рассмеялся. – Так и запрашиваем по коду: «Сожгли миллиончик?» Однажды Петр Якклич запросил: «Сожгли телефончик?» Два дня они расшифровывали, а Петр потом клялся, что он нечаянно.

Г. Б. испытующе глядел на меня и призывал посмеяться: дескать, я шучу, преувеличиваю, посмейся и ты, почувствуй себя свободнее! Дескать, все, что должен сказать Г. Б., уже сказано. Я, дескать, уже оценил тебя, твое благоговение, а теперь хочу видеть, какой ты есть.

Ему не удалось этого увидеть: я смотрел на него преданной собачонкой и смущенно улыбался. Г. Б. выждал минуту и, видимо, подумав, что перед ним такой уж дурачок, заговорил строго о том, что он смотрел мои курсовые работы, видел мой диплом и представляет себе все, чем я занимался. Он дал понять, что знает меня с головы до пят и что он – мой начальник... Я понял это, понял, как невысоко меня оценили за мое благоговейное молчание, но ничего не мог поделать.

А он сидел, заполнив кресло массивным телом. Белые пухлые руки лежали перед ним на столе, и толстенькими пальцами он покручивал, как волчок, голубую авторучку. Г. Б. очень постарел с того времени, как я видел его последний раз в университете, но я этого не заметил, хотя и смотрел на него во все глаза. В конце визита он решил, что все-таки не разобрался во мне, что тут что-то похитрее, и опять пошутил. Он рассказал про авторучку, которую вертел в пальцах. Эта красивая голубая штука не портилась и передавалась от начальника к начальнику как вечность. «Начальники мало пишут», – заметил мне Г. Б. и засмеялся. Я только робко и осторожно улыбнулся.

И вот я ждал, что он вновь позовет к себе. Вместе с Костей или, может быть, порознь, как в тот день. А он не звал.

«Что же было еще за этот год?» – думал я, неторопливо шагая. Я определенно считал, что имею солидное прошлое.

5

С танцев, усталые и наволновавшиеся, мы пришли ночевать к Косте – у него была отдельная комната в родительской квартире.

Танцы, знакомство с девушками, музыка – все это всколыхнуло, я быстро ел и говорил Косте, что мы скучно живем, я увлекался, и время от времени он, улыбаясь, замечал мне: «Немного тише. Спят...» Кроме нас, в комнате была хорошенькая пятнадцатилетняя сестренка Кости Неля, русоволосая, как брат, только посветлее. Она поставила нам на стол котлеты, хлеб, села чуть поодаль и слушала, как разговаривают «старшие». Я любил смотреть на нее, она была для меня частью тепла, уюта, частью этого дома, где меня всегда так хорошо принимали.

Да, это была добрая семья. Мы вернулись в двенадцатом часу, и Костя сказал матери всего лишь:

– Ма, милая. Мы устали.

И мать улыбнулась, и тут же встала Неля и, ежась со сна, сказала, чтобы мама шла спать и что она, Неля, разогреет нам котлеты.

– Не надо... – начал было я, но Костя только похлопал меня по плечу: не валяй дурака.

А мне было совестно, что ко мне здесь так хорошо относятся. Потом я мог шуметь, громко бубнить, забыв о спящих, но, когда я входил на порог, мне каждый раз было как-то неловко и совестно.

Мы расположились с Костей на широченной тахте. И когда мы лежали, потягивая мои сигареты, а через открытый балкон ломился чистый воздух ночи, я особенно ясно почувствовал, что все в этом доме хорошо. Я хотел бы, чтобы так было везде, всегда. И только на секунду я вспомнил маму: она жила в далеком зауральском городке, в маленькой комнатке. Некстати вспомнилось вдруг, как она била меня скрученным полотенцем, а иногда – линейкой по лицу. Вспомнилось случайно, без аналогии, и я поскорее отогнал это: она меня любила, но у нас была другая семья, другое время, другие люди вокруг.

Глава третья

1

Кроме обычного легкого багажа молодости, у нас была еще одна идея. Точнее, она входила в этот легкий багаж.

Была ли наша идея великой идеей? Ну разумеется, была. Она просто-напросто не могла не быть великой. Когда мы шли, скажем, на обед и проходили по коридору мимо еженедельных выставок, информирующих о достижениях отечественной и зарубежной науки, обо всем этом великолепии возможного применения современной ракетной техники, Костя негромко и почти всерьез обращался к этим стендам: «Добрый день, анчар! Добрый день, древо яда!» – Исполненный иронии, он ежедневно как бы кланялся стендам.

У нас даже был собственный план разоружения. Конкретный. Каждый из двух противостоящих блоков разбивал свою территорию на сто частей, равных по военному потенциалу. Потом правительства обменивались картами. Потом: «№ 38!» – выкрикивало одно правительство, «№ 61!» – выкрикивало бодро второе. И эти районы в течение одного-двух месяцев должны были стать зонами без оружия. И так далее, номер за номером. Разумеется, в освобожденные районы можно будет, не опасаясь шпионажа, допускать наблюдателей. Главное – понижать военный потенциал пропорционально... Конечно, мы с Костей молоды, иной раз и пьяница вгонит в страх, но тут мы не робели. Уж очень нелепо устроен мир, если он болтает о высоких материях, напичкивая ими газеты, и при этом не может избавиться от угрозы массового уничтожения людей. Быть не может, чтобы не существовало решения. Любую задачу можно решить. И мы – Костя и я, – мы спасем мир.

Мы догадывались, что над этим «детским» планом можно много и остроумно смеяться, что люди слишком поглощены повседневностью, глубокой или мелкой, неважно. И что даже сама постановка вопроса им покажется или невыносимо тщеславной, или невыносимо наивной. Но тут ничего не поделаешь, такие уж мы были, так вот верили и так хотели.

Была еще небольшая деталь: кто станет нас с Костей слушать? Интересоваться нашими планами спасения? Ответ у нас был. Мы любим свою профессию, мы талантливы и будем спешить. Пройдет лет десять, и почему бы миру не прислушаться к голосам крупных ученых величины Ньютона и Эйлера? Меньшие имена, разумеется, не устраивали нас. С полуслова понимая друг друга, мы охотно грезили и наперед делили меж собой математические провинции. Мир зовет! Игра стоит свеч! Пусть мир уцелеет за эти десять-пятнадцать лет, а там мы ему поможем. Мы точно и четко продумаем положение и математизируем мир, как задачу. А любую задачу можно решить... Все вышесказанное и составляло в общих чертах идею Кости. Он верил в эту идею, верил в свою звезду. А я верил в Костю.

2

Наша комната, наши рабочие столы казались серыми и скучными. Я только что окончил цикл и уже ленивым глазом увидел, что загубил один из листов – не учел параметра. Параметр был приписан сбоку, карандашом. Идиот. Я тут же попытался схитрить, обойтись как-нибудь вставками, но, пробежав глазами лист, понял, что не выйдет. И спешно, злобно набросился снова. Я заставил себя закончить столбцы и вспомнил вдруг, как мы увидели вчера вечером тех девчонок, представил себе золотую зыбь волос Адели.

Наши сидели склонившись, трещали «рейнами», но чувствовалось, что время близко к обеду. Я увидел старика Неслезкина, и мне стало совестно и захотелось извиниться перед ним

за сегодняшнее утро, когда я жаловался на пересчет. Типичный психологический ход в голове, которая с самой рани утрамбовалась цифрами. Но, действительно, извиниться было нужно: я ведь тогда забыл, что передо мной человек, которого нельзя ругать. А Неслезкин, наш зам, был именно такой человек.

Я подошел к нему. Маленький, он стоял, прислонившись к подоконнику; застывшее лицо в темно-бронзовых морщинах и складках. Удивительное, до черноты обожженное пушечным порохом лицо. Взгляд его скользил за мной, за моим шагом...

– Михал Михалыч. Если я не сдержался утром, то это была несдержанность, и ничего больше. Я не хотел, – заговорил я.

К нам подошла Эмма, и мне пришлось говорить при ней.

Кончил работу и Петр Якклич. Не вставая, не выбираясь из своего угла, он прислушался к нашему разговору и буйно и весело вдруг начал развивать мысль о том, что делал бы великий Белов на месте зама.

– ...А Эммочку – слышишь, Эмма! – он заставил бы чинить для себя карандаши, а бедного Петра гонял бы раз в две недели за получкой!..

Вокруг понемногу начали смеяться, но нас не задевал этот смех. Мы стояли втроем у окна, и я был уже весь вместе с ними, вместе с Неслезкиным, с Эммой. Тепло было у окна. Неслезкин тихо говорил, что все мы перегружены, что эти дни напряжены донельзя и что лаборатория не в силах справиться. Он говорил, как жаловался, говорил хорошо известные вещи, но в эту минуту их было приятно слушать. Эмма тронула меня за руку: дескать, видишь, всем нелегко...

И было очень естественно то, что я попросил тихо Неслезкина:

– Михал Михалыч. Мне понятно положение лаборатории. Но нельзя ли нам хоть ознакомиться с задачами? Пересчет пусть весь останется у нас. Пусть уж...

И он как будто понял, еще немного, и он бы согласился. Но грянул гром: жестким металлическим голосом вмешалась подошедшая Зорич.

– В задачах нельзя рыться, как в карманах! Материалы не мусор! – отчеканила она, не забывшая и не простившая мне моей утренней вспышки, которую так легко простил Неслезкин.

Она подошла неожиданно, и я подумал, что она, быть может, не слышала, что я не против пересчета: чего бы ей не согласиться? Я заторопился, заговорил:

– Я, Валентина Антоновна... я ведь и объясняю для того...

– Нечего тут объяснять, – оборвала она.

Я оглянулся на Эмму, на Неслезкина. Мы ведь только что были вместе и говорили о том, что всем нам трудно... Они молчали.

А Зорич продолжала:

– Ты болтлив. Нам надоели твои выходки. Может быть, ты и на улице болтаешь так же легкомысленно и развязно. Смотри! Ты не в парикмахерской работаешь...

– Ну что вы, Валентина Антоновна. Он не болтун.

– Подожди, Эмма. Ты все понял, Белов? Мне важно, чтобы ты понял. И больше не испытывай мое терпение: не одерни я тебя сегодня, каким ты будешь завтра? Птицу по полету видно! Выбрать задачу, вмешаться в налаженный ход всей лаборатории – для тебя пустячок!

Так всегда бывало, если она вмешивалась. Человек как-то терялся и замолкал. Дело в том, что она умела говорить, обращаясь не к человеку из-за конкретной его провинности, а ко всей его жизни. Как совесть. И это независимо от того, был ли перед ней молокосос вроде меня или поседевший Хаскел. Это была жуткая манера разговаривать. Я кое-как оправился от неожиданности, как вдруг она низким, приглушенным голосом добила меня:

– Или ты забыл, как ползал на коленях? Как умолял меня? Когда я тебя, как цепного пса, не подпускала к Эмме? Забыл?!

Она еще говорила, еще чеканила свои фразы, а у меня перед глазами стояла белая пелена. Какой-то шум вокруг, какие-то слова. Подошел Костя: «В чем тут дело?..» Но Валентина Антоновна уже высекла последнюю гранитную фразу. Она взяла Эмму под руку, и они отправились обедать.

3

Рядом стоял старик Неслезкин и молча, нежно глядел на меня. Ему, Неслезкину, трудно говорить. Он мог бы объяснить этому мальчику, что нужно легче воспринимать поучения. Он мог бы объяснить, но это долго, и еще у него, Неслезкина, очень болит сегодня сердце...

– О великий Белов! О великий Володя! Ты бы за водкой гонял меня в праздники, – продолжал свою шутку Петр, подходя к нам.

Все отправлялись обедать. Петр стоял около меня, он не очень понял, что произошло, но главное уловил и старался меня развеселить.

– Силен! На Зорич замахнулся! Почему ты не послал ее за обедом? Наверняка будешь посылать, когда вырвешься в начальники. И почему не приучить человека заранее? – Он смеялся, он распахивал, обнажал душу, а мне неприятно было сейчас сочувствие.

Подошел лысый майор и, как всегда умно и тонко, поддержал, сохраняя, однако, свою умную и тонкую корректность:

– Мы математики, Володя, у некоторых из нас чувства огрубели.

Я молчал, я все еще не мог прийти в себя. Костя потянул меня. Ему надоело все это: я, дескать, сто раз предупреждал, чтобы ты не вникал в эти их чувствешечки! Они – это они, а мы – это мы.

– Идем обедать. Или в самом деле пошлешь за супом Петра? – И Костя сильно дернул меня за рукав.

Я еще раз оглянулся на Неслезкина, потом машинально заторопился, стал смотреть, не забыл ли я в кармане пиджака сигареты. Чиркнул, закурил.

– Не спешите, – смеялся Петр Якклич. – Давайте перед обедом поговорим о женщинах. Тоже мне молодежь! Между прочим, женщина моделируется... Только не нужно торопиться и искать решение в обобщенном виде!

Он смеялся, бурлил, он был в прекрасном настроении и старался растормошить меня. Он стоял, высокий, сорокалетний и сутулый от «рейна», худой, с всклокоченным чубом, наполовину седым, и при прекрасном галстуке под грубоватым полнокровным лицом.

Костя протянул ему сигарету, и Петр Якклич, разглагольствуя, принял ее с видом самого счастливого человека.

– Не вздумай курить, – сказал Костя. – Держи и смейся.

После этого он вытянул меня за руку в коридор.

– Одну минуту, Костя, – сказал я тихо и повернул к уборной.

Я вошел туда и дошагал к выбитому чьей-то шваброй окну. Я положил руку на левую сторону груди и уговаривал сердце, как уговаривают его йоги: «Не надо, не надо». Потом стал глубоко дышать. Со мной случалось такое.

Нужно было переждать. Чтобы отвлечься, я попытался накачать себя злостью. «Подстерегла, старая, – думал я. – Подкараулила. И Эмма слышала. Как же я-то оплошал?»

Глубоко дыша, я смотрел в окно: там было солнце, асфальт, клены, гуляющие группки пообедавших сотрульников...

4

– Вот ты и согласился идти к Г. Б., – сказал Костя. Он тронул меня за плечо: – Только как ему это преподнести?.. Как попросить задачи, чтобы он понял, что мы не отказываемся от пересчета? Что мы не хитрим?.. Как избежать естественного вопроса, который мне задал однажды Петр: «Вы, – говорит, – что? Ночами работать будете? Или двужильные?..»

– Знаю, что сказать! – воскликнул я, выхватив ложку из тарелки и возбужденно размахивая ею.

– Эй! Только не брызгайся!

– Знаю, Костя... знаю, – заговорил, заторопился я. – Скажу, что хочу присмотреться к своей будущей теме. Всего лишь присмотреться... Ну да: к нашей общей теме. Я и ты – сектор!

Костя понял, едва я произнес это слово. Все ясно и гладко: мы мечтаем всю жизнь работать вместе. И пусть разрешат нам присмотреться к какой-нибудь теме. Например, Честер и Шриттмайер.

– И ведь Г. Б. может клюнуть, он неплохо к нам относится.

– Это и понятно: он так редко нас видит!

– И будем называться «сектор»! Какова идея?! – похвастался я. – Отдельный сектор. Есть же в других лабораториях!..

– В более крупных, правда.

– Ерунда! Я чувствую, что сумею убедить Г. Б. Много ли человеку нужно? В первую очередь найти слово! Зацепку, за которой он чувствовал бы себя прочно, а там уж он сумеет! И слово найдено. Сектор, Костя!.. Звучит, а?

– Итак, идем. И, Володя, не говори ему про Зорич. Стерпи. И шутки и жалобы – все это недостойное, мелковатое... – вдруг еще раз повернул он разговор и продолжал пояснять, и я с благодарностью слушал его, перехватившего мой разъяренный импульс и направившего его так, как нужно.

Быстро и энергично закончив обед, мы пошли к кабинету. За дверью было тихо. Мы переглянулись: все отлично, у него никого нет.

Секунда раздумья тронула нас нерешительностью. Точнее, моя нерешительность передавалась и Косте. Словно проверяя, только ли в этом дело, он посмотрел на меня: «Благоговеешь, а? Может, вернемся и будем опять ждать, пока сам предложит?» – «Нет, нет, нет, Костя», – ответил я ему также взглядом.

Колебание длилось недолго. Костя потянул ручку двери на себя. Лицо его было твердо. Я вошел за ним. В кабинете никого не было.

Мы невольно вздохнули. Но теперь нужно было ждать. Мы постояли; Костя посвистал в торжественной кабинетной тишине, потом подошел к окну, взял раскрытый журнал со статьей, которую только что, видимо, читал Г. Б., уселся непринужденно, закинув ногу за ногу, и вскоре увлекся статьей и даже забыл, что сидит в кресле начальника.

Я походил около него и наконец сел на маленький диванчик в углу. Диванчик находился в нише, в углублении.

5

За дверью слышался голос Г. Б. Выдерживая характер, Костя неторопливо положил журнал на место. Так же не торопясь подошел ко мне и сел рядом.

– Михаил!.. Да ты вспомни, каким ты был? Ты вспомни! – настаивал голос Г. Б. Быстрые шаги. Голос знакомый, но слова звучали горько: – Ты вспомни!

Он вошел вместе с Неслезкиным. Прошагал к окну и толкнул сильно, распахнул створки, жалея, что не сделал этого раньше.

– Ты уже сам все можешь, Михаил! Ведь все можешь! – Г. Б. расхаживал взад-вперед, делая по три-четыре шага около молчавшего Неслезкина. Г. Б. будто топтался там, на пятачке между столом и окном, круто разворачивался и снова шагал. – Ерунда! Ты уже давно сам по себе, Михаил!.. Ты сам! Ты давно на ногах, и тебе только кажется, что я тебе нужен... – настаивал голос Г. Б., и было почти не слышно Неслезкина, который тихо повторял: «Один останусь...»

Они вошли в кабинет, не заметив нас, не обращая ни малейшего внимания ни на что, кроме самих себя, а мы затаились в уголке, в нише, замерли от неожиданности.

– Как дружили, как соперничали! Ты вспомни, как мы соперничали. Какие светлые, какие благословенные были дни! – Г. Б. откашлялся, чтобы сбить дрогнувший голос. – Дело сделано, Михаил. Решено. Я уезжаю. Грусти, сетуй – все, что хочешь, но только вспомни, каким ты был! Вспомни! – Г. Б. подошел к нему вплотную. – Ведь ты был талантливее меня, Михаил. – Г. Б. дернул его за руку. – Слышишь, ты был талантливее!

– Не-ет, – отвечал на все, что ему говорилось, Неслезкин. Он стоял опустив голову, маленький, толстенький, растерянный.

– Был! У тебя быстро и блистательно все получалось!

Неслезкин рассмеялся холодно и равнодушно:

– Нет.

– Неужели не помнишь? Неужели?.. Ведь не так уж давно это было!..

Голос Г. Б. все рвался к некоему небу. Теплый с хрипотцой голос пожилого человека, когда он вспоминает что-то давнее:

– Да послушай же: это сейчас я как-то и сам поверил, что ты только казался... казался талантливее. Видишь, признаюсь! Я тоже думал, что ты ищейка, что, не случись с тобой всех этих бед, я обошел бы тебя все равно... Но нет! Нет, Михаил! Ты был одареннее, ярче!

Г. Б. взмахивал резко рукой, его полное тело сотрясало.

– Не-ет, – тихо смеялся Неслезкин и сказал как-то вдруг: – А живот-то, а? Отрастил?

– Брюхо отменное, купеческое! Видишь это брюхо? – Г. Б. обрадовался и похлопал себя по животу. – Помнишь теперь, какими мы были? Помнишь?

Неслезкин, не отвечая, протянул руку и стал трогать лежавшие в раскрытом шкафу белейшие простыни. Простыни были аккуратно сложены, и Неслезкин гладил их пальцами. Улыбка очень переболевшего человека тронула маскообразное обожженное его лицо:

– Твои? Да, Георгий?

– Да. Принес вот! Прилечь иногда хочется. Старость скребется в двери! Держу их так, на всякий случай: уж очень захотелось однажды. А когда эти штуки под рукой – я спокоен, и, знаешь, спать совсем не хочется! – Г. Б. оживился: – А помнишь, как мало мы спали? Помнишь? Уж теперь-то ты вспомнишь! И носа вешать не будешь! И вполне справишься с лабораторией, ведь ты был талантливее меня! Хотя немного, а все же талантливее, помнишь?

Неслезкин опять тихо засмеялся:

– Не-ет... не-ет, Георгий, – и кивнул головой.

Он, Неслезкин, помнит. Георгий утешает, подбадривает его, ну и хорошо. Он, Неслезкин, много видел людей, и он любит Георгия. И не за то, что Георгий взял его к себе на работу и сделал человеком после войны, несчастий, после белых марширующих перед глазами бутылок, белых, зеленых, парадно красных и разных других... И не за то, что он помог ему. Он, Неслезкин, просто любит его. Только напрасно Георгий его подбадривает. Он, Неслезкин, работает как может, а больше он не способен. Он как троллейбус, у которого в сети остался слабый ток. Они часто дразнили его в молодости троллейбусом за квадратную крепкую фигуру. Теперь он тихий троллейбус. Он тихо-тихо катится – как бы не кончился ток. И не обращает внимания на

крики пассажиров, на машины, которые его обгоняют. И легковые и грузовые... всякие. Такие отглаженные эти простыни. Белые!

Г. Б. трогательно усадил Неслезкина в кресло и сбоку, склонившись, смотрел на него, уговаривал:

– Здесь мягко, здесь тебе будет хорошо. Вот увидишь... Я знаю, ты справишься. Я знаю тебя лучше, чем ты сам...

Неслезкин слушал. Георгию кажется, что это просто, Георгий все может... Когда-то он, Неслезкин, и впрямь спал меньше других, и понятно, что он был талантливее Георгия и прочих. Он был выше их, Георгий даже не представляет насколько!.. Намного выше, на несколько вершин. Белых таких, белоснежных скалистых вершин, когда облака и орлы уже совсем-совсем внизу. Он был где-то очень высоко, тот Михаил Неслезкин... А Георгий молодец! И не потому, что он взял на работу Неслезкина, когда его уже никто не брал. Прошло много лет, прошла война, а Георгий такой сильный. Делает половину задач лаборатории. Сидит здесь, в кабинете, и делает. Даже две трети делает. И остальные не бездельники, но он, Неслезкин, не считает их, как и себя, за крупных... Словом, не считает. И что будет делать он, Неслезкин, с этой перегруженной лабораторией, когда уйдет Георгий, и станут ли слушать его, Неслезкина? Не жалеет, бросает его Георгий.

Неслезкин тихо и согласно кивал головой. Мы смотрели.

Г. Б. говорил теперь о войне, говорил глухим голосом о пехоте, о том, как спали они бок о бок и шагали рядом по зимним дорогам. Г. Б. вспоминал бои, какие-то им обоим хорошо знакомые места, события, ночи. «Помнишь, Миша... помнишь то время?..» – говорил он.

Я и Костя сидели в уголке дивана, ошарашенные, застигнутые врасплох, не успевшие ни уйти, ни подать голос. Может быть, не все мы понимали. Может быть, мы не понимали и сотой доли. Мы только схватывали обрывки фраз и сидели тихо, следя, как те двое витают в облаках, в своем небе, у своих скалистых вершин... Мы сидели молча, как одно целое, сидели, инстинктивно сбившись вместе и слушая, как одно ухо.

6

Вошла Зорич.

– Георгий Борисыч, я к вам с претензией. Это вы посоветовали, чтобы Худякова взяла *задачу четыре* по вашей теме?

Г. Б. обернулся, резко и недовольно сказал:

– Ну и что?

– Худякова загружена очень. Вы, Георгий Борисыч, вероятно, не подумали об этом. Вы, Георгий Борисыч, конечно, заняты... Все мы знаем, как много вы делаете.

Зорич говорила быстро, и слова ее были вежливыми, но голос твердел. Она не обращала внимания на резкий тон Г. Б. и старательно, мощно разворачивала эти вежливые слова для наступления, давая понять, что она выше пререканий и что от нее не отделаться грубостью.

– Вы, Георгий Борисыч, ученый не чета другим, вам, конечно, некогда... Но, отдавая приказание вот так, мимоходом, вы поступаете неосмотрительно. В конце концов, это легкомысленно... *Задачу четыре* естественно было передать Петру Яккличу. И по нескольким причинам. Во-первых...

– Ладно, ладно! Дайте же нам поговорить! – Г. Б. не захотел дослушать.

Зорич выждала паузу. Стало тихо.

– Хорошо, – сухо сказала она. И повернулась, чтобы выйти.

И тут Г. Б. вдруг переменялся. Он тихо начал:

– Подождите. Подождите, Валентина Антоновна. Я ведь ценю... очень ценю ваше мнение...

– Я слушаю вас. – Зорич поджала губы.

– Ну не сердитесь, Валентина Антоновна.

– Я не сержусь.

Г. Б. заторопился. И так странно было видеть его извиняющимся, хитрящим.

– Я ведь не спорю. Возможно, не прав... Михаил, нам очень интересно твое мнение. Хочешь что-нибудь сказать, Михаил? Вы, Валентина Антоновна, советуйтесь в таких случаях с Михал Михалычем. Он не хуже меня разбирается. И на будущее учтите. Михаил сейчас так втянулся во все эти тонкости, что практически все решает он... – Г. Б. говорил явную ложь. Даже мы поняли это. Но он настаивал, повторял, чтобы сейчас уже представить себе и приблизить желаемое будущее: – И Михаил не так резок, как я. Я прошу извинить меня, Валентина Антоновна.

– Я тоже была резковата. Но вы уж слишком, слишком, Георгий Борисыч. Тем более при посторонних.

– Михаил! – позвал Г. Б., предпринимая последнюю попытку.

Но Неслезкин молчал: он не мог сейчас высказать своего мнения о задаче *четыре*, он даже головы не поднял. Он едва ли заметил, что вошла Зорич.

Г. Б. в секунду понял это и быстро сказал:

– Ну ладно... ладно. Что? Худякова уж так перегружена?

– Вы разве не знаете этого?

– Ну хорошо. Пусть Петр Якклич возьмет. А вообще советуйтесь с Михал Михалычем. Понимаете, нам сейчас просто некогда сосредоточиться на этом... этом важном деле.

– Понимаю, – сказала Зорич не без насмешки.

Она вышла из кабинета довольная.

Г. Б. заметил нас. Он, конечно, заметил еще тогда, когда Зорич сказала про «посторонних».

– А вы? Вы что, мальчики? – очень мягко спросил он.

Мы замаялись:

– Да мы так... так...

Мы даже не нашли, что соврать, и ушли – оставили их наконец вдвоем.

Глава четвертая

1

На следующий день, перед самым обедом, то есть когда легко выбраться незамеченным, были две-три томительные минуты.

Я волновался, а вокруг в нашей удлинённой комнате сидела, погрузившись в бумаги, трудилась вся лаборатория. Коллеги, понятно, не подозревали, что должно было вот-вот произойти. Главное – Зорич не подозревала.

Я оглянулся на нее. Сидишь? Ну сиди, сиди! Я даже улыбнулся ей. Чувство большого начала, разбавленное мальчишеским восторгом, перебороло вчерашнюю обиду. Я был как перед падением, и стало вдруг тихо на минуту, будто все они ждали, затаились. Костя рассказывал, как однажды в детстве, когда они всей семьей ездили на юг, они проходили под снежным обвалом. Дело было в суровых горах: большая группа людей шла осторожно, взрослые едва переговаривались, шептались, шипели. К ужасу пап и мам Костя и мальчик, грузин из местных забежали под самый срез нависшей притихшей лавины, и маленький Костя орал во всю глотку: «Эй ты! Белая!.. Белая!» – и снег лежал тихо, блестел.

Уже можно было идти, уже Костя, перегнувшись через стол, сказал сердито: «Белов... Белов!» – а Белов все сидел, ощущая минуту. Сейчас Белов встанет, уйдет, а Костя Князеградский возьмет на себя только ему посильный труд: отвлекать Зорич, спрашивая ее о некоторых неясных местах пересчета.

До кабинета было десять шагов. Я вошел, захлопнув толстую обитую дверь. «Рейны» из нашей комнаты жужжали теперь за двумя дверями, как мухи, зажатые в кулаке.

Г. Б. был один.

– А-а, Володя, – сказал он, улыбаясь. – Садись, садись.

Я сел и мягко опустил почти до самого пола.

– Ну и креслице у вас! Чудо! Кажется, год сидел на камнях... Подумать только: когда-то все это принадлежало дворянам!

Г. Б. рассмеялся:

– Но-но!.. Полегче, задира! Не отвыкать же мне в пятьдесят-то.

Взяв хороший тон, я так же бодро и быстро изложил ему идею «сектора». У Г. Б. еще плавала на лице первая улыбка, а я уже кончал, закруглялся, отбрасывая все лишнее. Начал я с Кости: «Косте и мне... нам пришлось в голову...» – так была сделана первая фраза, и дальше я старался как можно чаще упоминать Костю. И боялся, что Г. Б. спросит, почему мы не пришли вместе.

Но Г. Б. не спросил. Прикрыв глаза, он слушал. Сидел в кресле и, подперев голову рукой, слушал. Перед ним на чистом листе бумаги отдыхала голубая авторучка.

– Значит, и Князеградский... – сказал он медленно, – талантливый мальчик. Это я вас обоих мальчиками называю. – Выждав паузу, он улыбнулся: – Ну что ж! Хорошо. Сделаем из вас сектор. А больше никого не хотите привлечь?

– Можно, конечно. Но пока...

– Ну ясно.

– Мы как раз хотели заняться результатами Честера и Шриттмайера.

– Ясно.

Он сидел, думал о чем-то и, казалось, несколько не сомневался в наших силах, и его совсем не волновала судьба нашего с Костей огромного пересчета. Я же нервничал, боялся, что кто-то войдет. И встал.

– Ты что, Володя? Посиди еще.

Г. Б. поднял на меня глаза. Тут только я заметил, что он невесел. Крохотный кристаллик улыбки чуть теплился, чуть жил в его глазах. Г. Б. смотрел на меня и пальцами мерно и грустно шевелил голубую авторучку.

– Мне нужно... идти нужно.

– Так уж и нужно? Да зачем это? Посиди. – Он даже приподнялся, подошел ко мне. – Садись, садись. Я все-таки начальник, разрешаю. Я ведь редко вас вижу. Говорят, ты горячий очень. Задираешь всех. Расскажи хоть. Я ведь приглядываюсь: что-то ты все Костя да Костя, а сам как?

Я стоял и переминался с ноги на ногу.

– Говорят, ты на Эмму, как тигр молодой, напустился? А?

– Ну уж и как тигр. Куда мне!

– Смотри... Знаю я вас, длинноногих! – мягко рассмеялся он.

И еще что-то он говорил. А я, как лунатик, вновь выцедил из себя фразу, к которой обязал меня Костя: «Значит, можно? Можно ознакомиться с задачами, да? Спасибо. Спасибо», – и Г. Б. опять что-то говорил, а я просто обязан был выйти сейчас и выкурить сигарету. И ведь Костя там. Ждет.

– Ну а как вообще?.. Как тебе мир? Обмен посланиями? Буза не начнется очередная, а?

Я стоял перед ним, мялся и не мог открыть рта. Он глянул на мои торопящиеся дрожащие колени и махнул рукой.

– Ступай, – сказал он.

2

Костя нервно расхаживал по коридору.

– Победа! – сообщил я.

Я рассказал. А затем Костя, в свою очередь, рассказал о том, как он морочил Зорич голову и как она все время посматривала на часы и в конце концов прогнала его.

Мы радовались нашей ловкости и нашей победе, а в коридоре у бокового окна стояла женщина и беззвучно плакала. Женщина была пожилая и великолепно одетая. Темное платье, бросающее, как нам показалось, вызов всем ценам, кофта богатой белой шерсти, бусы, браслеты, золото... А лицо маленькое, несимпатичное, заплаканное.

– Послушайте, – бодро начал Костя. – Ну разве можно так плакать? Можно плакать громко. Плакать, всплыв, понервничав. Но вот так стоять и плакать...

– Можно плакать ночью, – добавил я.

– Вас выругал начальник? Из этой или из той лаборатории?

– Он сейчас будет у нас тепленький, – сказал я и начал подворачивать рукава рубахи.

Женщина заговорила с некоторой манерностью:

– Мне, мальчики, не нужна ваша помощь. Я здесь не работаю.

Мы приставали, и женщина повторила: ей не нужна наша помощь. Муж решил бросить ее, вот и все... Да, она страдает, она не скрывает этого... Дети уже взрослые, живут отдельно – она одна, совсем одна.

Костя спросил просто так:

– Из какой лаборатории ваш муж?

– Из шестнадцатой.

Мы переглянулись:

– Кто он?!

Она сказала. Наш Г. Б. был ее мужем.

Мы смолкли, а она продолжала: никто, как видите, ее не ругал, она пришла к мужу мириться. Может быть, и не стоило приходить, но люди, работающие здесь вместе с мужем, настояли.

– Наши общие знакомые, – добавила она весомо и значительно.

Я удивился. Я едва не рассмеялся:

– Да кто? Кто станет вас мирить? Георгий Борисыч только чихнет, и мы все под «рейны» попрячемся!

– Ну-ка перестаньте, Белов, – услышал я суховатый резкий голос.

За моей спиной, в двух шагах, стояла Валентина Антоновна Зорич собственной величественной персоной.

– Как это – перестаньте? – вспыхнул я.

– Да так. Перестаньте, – сказала она и поглядела на меня, и я должен был почувствовать ее силу и смолкнуть как срезанный.

Удивительно, но я почувствовал, и притих, и смолк.

Зорич решительно встала между мной и женщиной.

– Идемте, – сказала она жене Г. Б. и назвала ее по имени и отчеству.

И та пошла за ней, бросив на меня подозрительный и не без испуга взгляд.

3

Они уже облепили ее со всех сторон: Зорич, Эмма, Худякова да и мужчины тоже. Они усадили ее на стул, обступили и уговаривали.

– Ах, старый потаскун! – говорила Зорич. – Ах, старый козел! Опять двадцать пять!

Эмма успокаивала:

– Не расстраивайтесь! Милая, хорошая, не надо расстраиваться.

Шумно было. Они говорили, что сейчас позовут сюда Г. Б., что почти вся жизнь Г. Б. и Софьи Васильевны прошла на глазах этой лаборатории и что, представ перед всеми, он должен будет разом ощутить свою вину. Они говорили, а жена Г. Б. тихо и манерно произносила:

– Я... я пойду. Георгий не любит, когда я прихожу сюда. Может быть, лучше, если я пойду?..

Ей тут же возражали:

– Ну что вы! Что вы!

– Сменять Софью Васильевну на эту вульгарную, полуразвратную женщину! – сокрушалась Зорич.

– Развратную – это слишком, – вставил было Петр. – Я все-таки ее хорошо знаю. Я ее неплохо знаю.

– Это совсем не блестящая рекомендация, Петр Якклич, если вы... вы ее хорошо знаете!

– Петр Якклич просто рыцарствует. Это несерьезно!..

Они говорили, спорили, и понемногу мы с Костей узнавали, что все это тянется уже третий день. Что три дня назад Зорич, Эмма и угрюмый майор уже приходили по просьбе Софьи Васильевны к ним домой, однако Г. Б. уже не жил дома. И что решили выждать еще три дня: вдруг образумится, вернется...

Но сначала Зорич понадобилась формальная опора. Она знала, что этот пыл и шум слишком непрочны, мгновенны. Она подошла к тихому Хаскелу, который больше молчал и отсиживался в стороне. И четко выговорила, что нужно всем подписать составленное уже заявление, в котором лаборатория выражает свой гнев аморальным поведением Г. Б. После этого можно пригласить его сюда. Г. Б. будет сломлен – Зорич выразила мысль очень ясно. Именно Хаскел должен был сейчас первым заявление подписать.

– Я?... Я? – переспросил он с особенной интонацией часто обижаемого человека.

– Да. Например, вы... Разве вы не хотите? Или у вас другое мнение?

– Нет, нет! Что вы! Но у меня... у меня так много работы. Я... – Он быстро-быстро стал листать бумаги, будто можно было показать что-то такое, что будет признано срочным.

– Как хотите! – отчеканила Зорич, поправила шаль на плечах, и кисти шали всколыхнулись. – Только мне кажется, что это ваш долг. Долг перед всеми нами. Ведь мы все решили. Конечно, если у вас свое мнение...

Хаскел вжал голову в плечи. От каждой фразы он все больше съеживался. Потом распрямился, морщины на его лице разгладились, и в выражении проступила вековая скорбь. Он был готов.

Зорич поддержали: конечно, нужно держаться всем вместе! Г. Б. шутить не любит.

Лысый майор негромко сказал, что он бы не вмешивался в чужие дела. Он даже брался объяснить, почему такие дела чужие. Но его корректный ровный голос тонул в шуме общего мнения. А Зорич старалась вовсе не слышать этого голоса... Большие карие глаза Хаскела глядели в пространство. Там, за окном, качались на ветру ветки кленов и какая-то птица прыгала по веткам и все усаживалась поудобнее. И от веток было рукой подать до синего пространства.

– Я... подпишу, – сказал Хаскел, не отрывая глаз от окна.

Зорич напрягла мускулы увядшего лица. Теперь вопрос сосредоточился на старике Неслезкине.

– Михал Михалыч... Мы же всегда были вместе. Зачем нам ссориться? – говорила Зорич.

– Конечно, конечно!.. Михал Михалыч, мы не ожидали.

Удивительно было: все они говорили и делали точно так, как говорила и делала Зорич. Разумеется, еще три дня назад, когда ходили к Софье Васильевне, у них было все решено и обострено против Г. Б., но впечатление складывалось такое, будто вот сейчас, сию минуту, Зорич загипнотизировала их, и никого их не было видно – только волевое ее лицо, наступательное и уверенное в своей правоте.

– Нет... Я не могу... Георгий сам знает, – отчаянно затряс головой старик. Он, Неслезкин, не может обвинять Георгия! Как они не понимают этого! Георгий для него... И они так тесно его обступили... Они же знают, что он, Неслезкин, не переносит шума. Неслезкин мотал головой: – Нет... нет. Оставьте меня в покое, товарищи... Я уйду... Уйду к себе.

Уйти Неслезкин грозился в свой «кабинет»: это была третья, очень маленькая и душная комната нашей лаборатории – кабинет зама.

Зорич заговорила ему прямо в лицо. Он, Неслезкин, должен спасти Г. Б., этим он только поможет сбившемуся с пути. И тут вдруг заплакала жена Г. Б., не выдержавшая гордой своей роли: она не предполагала, что это будет так долго. Ее слезы и добили старика.

– Значит, не хотите помочь? – спросила Зорич и смотрела на него в упор, не мигая. Неужели он не хочет помочь Г. Б.? Неужели он не друг Г. Б., не человек, а всего лишь развалина, принятая из милости и помнящая об этом?

Тягостное молчание длилось недолго: Неслезкин вздохнул, хватнул ртом воздух и подписал.

Все было готово. Сейчас они позовут сюда Г. Б.

– Мальчики!.. Володя! Костя! – сказала Зорич. – Идите-ка погуляйте.

4

Мы спускались по лестнице. Я закурил, спичка попалась кривая, как сабля; я вертел ее в пальцах, пробуя на ощупь кривизну, и когда закурил, сигарета долго казалась тоже изогнутой.

Мы не спешили. Костя говорил, что, пока Г. Б. не ушел совсем, нужно, пользуясь данным им разрешением, ознакомиться с задачами лаборатории. И сделать это тихо, не говоря пока

другим, которым сейчас тоже не до нас и которых взбудоражит имя Г. Б. Как всегда, все, что говорил Костя, было правильно и разумно.

Я молчал. Мне было жаль Г. Б. Я восстанавливал в памяти сегодняшний победный визит к нему и только сейчас (будто опять я стоял перед ним и нервничал) увидел, что Г. Б. стар. Очень стар в свои пятьдесят. И тем сильнее забронзовела передо мной во весь рост Валентина Антоновна Зорич. Я понял, в какие крепкие руки попадет сейчас Г. Б., когда они призовут его в лабораторию.

Совсем по-иному увидел я теперь тот первый урок, который преподавала мне Валентина Антоновна. Это было сразу после шутки Петра Якклича, когда я носился по комнате и в страхе спрашивал всех: «Что же мне делать?» – и ждал, что вот-вот войдет разъяренный муж Эммы.

Тогда Зорич решила оставить меня после работы: она и старик Неслезкин должны были сделать мне от лица коллектива замечание и дать советы. Очутившись с ними с глазу на глаз в опустевшей лаборатории, я еще больше размяк и стал спешно говорить, что я понимаю, что такая любовь пустая, что она мешает всем, мешает работе, мешает Эмме...

Зорич сказала:

– Вот что, Володя, хватит вилять!.. Так мы с тобой не договоримся. И брось бить на жалость: ты взрослый парень!

Поправив свою шаль, она оглянулась на бесстрастно молчавшего Неслезкина: не скажет ли он чего, не добавит ли? И начала:

– Не виляй и слушай. Тебе придется переломить себя! Я давно... очень давно к тебе приглядываюсь, с первого дня! И вот мое мнение: ты никогда не будешь стоящим работником. Я сужу по твоим замашкам и желаниям. Я сужу по твоей болтливости. Я сужу по твоим шуткам, похожим на издевки. Ты пришел в мир, как поиграть в волейбол. Да? Почему для тебя нет ничего сдерживающего и святого? Почему ты как хозяин? Кто ты? Талантлив очень? Не сказала бы. Не бездарен, но таких много! Умен? Нет ведь! Костя вчетверо умнее тебя и талантливее. Ты самый обычный человек. Заурядность! И сиди смирно. Слышишь, сиди!

Она продолжала:

– Хуже того: ты подпорчен изнутри. И Костю стараешься портить. Ты истрепан и издерган чем-то очень собственным, очень личным. И это, конечно, твое дело... Но какое право ты имеешь любить замужнюю и, главное, тыкать свою любовь всем в нос, чуть ли не гордиться этим и требовать сочувствия? Да я тебе не сочувствую ни на каплю, как ты меня ни жалобь! Будь ты что-то особенное, занимай ты необычное положение и то... и то некрасиво требовать того, что всеми не принимается. А уж ты сиди смирно и не высовывай носа! И я говорю это не только об этой глупейшей любви, но и о всех твоих выходах. Слышишь? Сиди, и чтоб тебя не замечали!..

И я сидел. Сидел смирившийся, прибитый, с полными слез глазами.

– Я не виляю... я... я...

И больше я ничего не мог сказать. Я сидел и прощался с Эммой, прощался со своими шутками. Хорошо, я не буду... никогда ничего не буду, если уж людям не нравится.

Зорич внимательно меня оглядела, потом обернулась к молчавшему Неслезкину:

– Я думаю, хватит беседовать. Он не столько с нами хитрит, сколько сам себя обманывает.

Она была больше чем довольна собой – она была счастлива. Мое жалкое лицо лучше всего подтверждало собственную ее полезность людям. И, чувствуя себя при исполнении обязанностей чуть ли не общества в целом и понимая, что все, что говорится в такие минуты, будет веско и умно, она продолжала, уже одеваясь:

– Нет. Не поймет!.. Не верю я, Михал Михалыч, что такой человек может понять. Он всегда будет хотеть большего... много большего, чем заслуживает! Он из тех людей, что до самой смерти живут миражами и всю жизнь сами себя обманывают!

Давно это было, а сейчас перед обедом мы с Костей мыли руки. По очереди подносили руки к крану. И, вспоминая «уроки» Зорич, слыша каждую ее интонацию, я отчетливо понимал, в какие железные лапы «долга» попал Г. Б. А я-то думал, что она просто издевалась надо мной. Нет. Тут сложнее. Случаем и некой прорезавшейся волей старуха присвоила себе огромный моральный капитал и теперь, не спрашивая никого, этим своим весом давит, диктует...

Я думал об этом, и струя холодной воды, леденя, лилась мне на руки.

Я будто видел ее перед собой. Немолодая, очень немолодая женщина... Постаревшее лицо, несколько высокомерное. С чуточку подкрашенными губами... И в холода, и когда было совсем тепло, она по-старушечьи куталась в шаль, которую приносила из дому. Зорич была седая, сине-седая, с величественной строгой прической. Седые волосы возвышались, как снежная вершина, над дымчатой шалью. Шаль была хорошая, наверно, наша, оренбургская.

Мы пообедали, вернулись в лабораторию, и никто не сказал нам ни слова о том, что здесь произошло.

5

Едва рабочий день кончился и все разошлись, едва затихли их шаги в коридоре, мы захлопнули дверь и спустили собачку английского замка.

Вся «тайна» аккуратно висела перед нами на гвоздике и поблескивала. И это было теперь нам позволено. Наконец-то. Мир, мы идем к тебе!.. Радость переборола все. Держа в руках по несколько серебристых ключей, перекидывая их друг другу, подбадриваясь криками, мы замечались, как тигры, в опустевшей лаборатории – от стола к столу. Столы, понятно, не сопротивлялись. Беззащитные, оставшиеся без хозяев, они могли только грустно и угрюмо молчать.

– Даешь, Костя!

– Даешь! – несло в пустынной пропыленной комнате.

Мы потрошили столы, складывали бумаги в папки, нужно было выбрать основное – и быстро.

– Слышишь? В этой папке Неслезкин. Надпиши, чтобы потом не забыть!..

Потом шкаф.

– Тсс, – сказал я, вскрывая его. – Извини нас, толстячок. Будем знакомы.

Я открыл и на секунду замер: папки стояли ровно. Как часовые, без малейшего наклона! И раздутые, и уважительно тоненькие. На переплетах такие же ровные, без наклона, выведенные красной краской номера тем, задач. Картина было захватывающая: передо мной было сердце лаборатории. Я знал, как мала и подсобна другим наша лаборатория, и все-таки было приятно сознавать, что передо мной ее сердце.

– Костя...

– Ну?

– Смотри!

Он тоже смотрел целую минуту, а потом спохватился:

– Ты что? У нас нет времени! У нас куча работы! Не хватало только, чтобы патруль поинтересовался, что мы так поздно тут делаем!

Он схватил папку из тех, что потоньше.

– Даешь! – И швырнул ее через всю комнату на диван, поближе к рюкзаку. Описав планирующую линию, папка звонко шлепнула по барабанной коже дивана.

И чувство дикой радости овладело нами.

Чтобы потом не спутать, мы погрузили весь улов в рюкзак Петра Якклича, в котором тот притащил как-то спирт, оставшийся после опыта в соседней лаборатории (там трудились две жизнерадостные и мечтающие о Петре старые девы). Погрузили и посмотрели на часы. У нас оставались считанные минуты, потому что здесь можно было находиться лишь до восьми вечера.

Чтобы выйти на улицу, мы, как обычно, дважды предъявили свои пропуска, и у меня замирало сердце, я вспоминал первые дни: как будто не год назад, а именно сегодня, сейчас приняли меня на эту работу. Костя деловито, уверенно свернул к автобусу.

Автобус летел и дребезжал стеклами. Мы мчали туда, где можно было работать и вечером и ночью, ко мне домой. Ко мне.

6

У меня была комната. Маленькая комнатка на окраине Москвы, в полутора часах езды от работы.

Когда на распределении я вдруг узнал, что организация, в которой я собирался работать, дает мне комнату, я даже растерялся от неожиданности: почти все наши получали общежитие. Мне редко везло, и тут я подумал, что это счастливая случайность, одна из тех, что сопутствуют правильно принятому решению, то есть я правильно сделал, что выбрал лабораторию Г. Б. Я еще не знал, что полтора часа езды не шутка.

Тогда же в приливе самых хороших чувств я нарисовал себе картину: пусть в комнате у меня будет небрежно, не очень, может быть, чисто. Без радиолы нельзя, пусть будет и радиола. Глухая ночь. Тишина... Я сижу, пишу. Горит настольная лампа. Три часа ночи, и только гудит за окном ветер. Она (кто – пока неясно) лепечет что-то во сне на моей раскладушке, переворачивается на другой бок, приговаривая во сне, как ребенок. Я отрываю от нее глаза, и опять лист бумаги... свет настольной лампы... удивительный свет! Мне очень хотелось этого. Детство, школа да и, пожалуй, студенческие годы были у меня неуклюжими, издерганными. И моя комната должна была стать первым камнем нового фундамента.

И когда, выпотрошив лабораторию, мы с Костей приехали ко мне, я не мог не вспомнить всего этого, не мог не улыбнуться моей маленькой комнате: привет, привет, одинокая! У нас не было с тобой задач, теперь есть и они! Теперь мы взбодримся, теперь в Москву, в библиотеку, и на работу я буду делать только вылазки, а здесь будет святая святых. Ты моя крепость, мой крепкий тыл, а в мир я буду делать набег. Как скифы, наши несомненные предки.

И опять я так размечтался, что Костя дернул меня:

– Эй, хватит дымить, за дело! Соседи подумают: горит...

Я рассмеялся и вернулся к формулам. Я знал, что соседи не поднимут большого шума. Соседями по квартире была молчаливая семья: муж, жена и двое детей. По вечерам смотрели телевизор с экраном в ладонь, спать ложились рано. Меня они уважали, видимо, за то, что я ночью мешал им спать своим нудным арифмометром. Человек работает по ночам: шутка ли? И не просто сидит и курит, а слышно: щелк! щелк!

Весь вечер и всю ночь мы знакомились с задачами. Мы занимались самым интересным в жизни: осмыслением. Трижды я пробирался на кухню и ставил кофе.

И мы наконец выбрали себе по задаче, которые еще никто не решал, но которые могли нашей лаборатории скоро понадобиться.

– Ты взял слишком крупный кус, – сказал Костя.

Я стал спорить, говоря, что наши задачи примерно эквивалентны, но сам отлично понимал, что он прав. Но уж так мне хотелось: эта задача была из темы Г. Б.

Костя засмеялся:

– Смотри. Ведь не торт делим. Нужно работать быстро.

– А знаешь: наши задачи очень близки по тематике НИЛ-великолепной! – вдруг воскликнул я.

– Я тоже обратил внимание.

Мы поговорили и об этом. НИЛ-великолепная – это богатая, сытая, модная лаборатория в сорок талантов. Два года назад туда перебежал молодой Леверичев из нашей лаборатории.

Он тоже выпускник университета, тоже мучился на пересчете, пока ему не дали задачу, он блестяще решил ее – и переметнулся.

– Великолепная НИЛ, конечно, фирма, – сказал Костя. – Но все-таки главное – иметь задачу для начала. Хорошо решенную задачу за своими плечами. Так что смотри!..

Но я уже не мог отказаться от выбранного... Выехали мы в то утро пораньше, с тем чтобы прибыть на работу до того, как придут другие, и разложить папки с задачами по своим местам.

Глава пятая

1

Ни одной ночи этого месяца мы с Костей толком не спали. После работы мы заезжали к Косте домой, ели там, ложились спать часа на три и затем ехали ко мне – осмысливать задачи, которые решали взахлеб, дорвавшись до них наконец.

Перемешались дни, перемешались ночи. Мы погрузились в какое-то вязкое время, и секунды этого времени не отстукивались, а тянулись и тянулись одна за другой, как клейкая масса расплавленной резины. И в этой темной клейкой массе пребывало и вываривалось сутки за сутками наше сознание, и ночь отличалась от дня только удивительной тишиной.

И наступил день, когда Костя стал нервничать: он свою задачу решил. Решение ему казалось слишком простым, он был не уверен, и задача должна была отлежаться. День-два, и тогда только станет ясно: или дело сделано, или начинай снова. Костя брюзжал, сердился, бранился, а со стороны выглядел подкупающе, может быть, потому, что в такие минуты он бранил себя больше, чем всех остальных, вместе взятых.

Этот день оказался субботой, и субботний вечер навязчиво колыхал в нашем воображении лица Светланы и Адели. Косте в его состоянии хотелось надежных и устойчивых ходов, и мы не стали звонить: прошел как-никак месяц, и нас могли попросту не вспомнить.

Невыспавшиеся, мы валились с ног, и Костя фыркал на сестренку, которая все вертелась около нас. Потом сказал что-то не очень вежливое матери; сказал и поморщился: ах, дескать, все не так!

Я же, голый по пояс, гладил, зевая, рубашку.

– Может, все-таки позвоним? Вдруг их не будет на танцах?.. Что будем делать тогда, о неутомимый?

– Завтра поедem на пруд.

Я кропил рубашку водой и сонно вспоминал, что девчонки в тот вечер говорили о том, что начали уже загорать на Царицынском пруду. Это было недалеко от их дома. Сказать, что они купаются там, Адели показалось неприличным.

Я зевнул, разворачивая скулы:

– Правильно, Костя. А если их не будет на пруду, восстановим их домашний адрес по номеру телефона. Будем дежурить около дома. Для начала – знакомство с мамами. Представляешь, как я буду улыбаться Аделиной маме?

– Если ты делаешь что-то ради меня, то хотя бы не напоминай об этом.

– С чего ты взял, глупый? Я сам хочу познакомиться. У нее наверняка миловидная мама...

– Заткнись!.. Между прочим, пора спать. Нелька, как я выгляжу? – Он стоял перед зеркалом.

Неля подплыла. Ее юбочка качалась, как колокол.

– Очень ми-ило... – Неля глядела в зеркало, только едва ли на Костю и, уж конечно, не на меня. Потом, покачивая юбочкой, вышла.

Мы легли спать и проснулись только в одиннадцать часов вечера. Проспали будильник, танцы, Адель и Свету.

Мы шагали по вечернему говорливому городу. Голова была тяжелая. «И прекрасно, что не попали на танцы. Не хватало только, чтобы мы стали завсегдатаями этого притона», – брюзжал Костя, но я не очень-то ему верил. Мы приостановились: откуда-то валил спорящий люд.

Весь этот год мы никуда не ходили, и чем-то приятным, давно забытым повеяло на меня при виде шумной, возбужденной толпы.

Я придержал Костю, словно предчувствуя:

– Постоим. Можно встретить знакомых.

И почти тут же мы увидели Алешу.

– За невезением идет везение, – сказал я, сдерживаясь, и тут же крикнул радостно: – Алеша!

– Ничего себе везение, – недовольно бросил Костя. В университете они откровенно не любили друг друга.

Алеша был с двумя девушками, шагал посередке, не видел нас и задумчиво нес свою мощную черную бороду. Одна девушка была нашего выпуска, та самая, которую Алеша обожал год за годом и которая каждую весну в кого-то влюблялась. Другая, как сказали они нам, была с их работы.

– Володя! Володя! Костя! – обрадовался Алеша. – Девушки, не потеряйтесь... идите за мной... сюда! Мы здесь, девушки!.. Не теряйтесь! – кричал он, рванувшийся к нам и звавший теперь своих дам через головы людского потока, немедленно разделившего их. Он то порывался к ним, то хотел остаться около нас и без конца махал руками. Он бывал удивительно неловок в таких ситуациях.

Костя тихо сказал:

– Не теряйтесь, девушки. Такие ребята рядом...

Наконец они присоединились к нам. Впятером мы шагали по улице.

– Эх, Володя, как это тебя не было с нами! – заговорил увлеченно Алеша. – Такая выставка! Поляки! Вот и девушки скажут!..

– Да, было здорово! Интересно... – заговорили девушки.

Я улыбнулся:

– Все так же споришь?.. А?

– Ох и спорю! Надо было обсудить и живопись и графику... Это надо видеть! Имена новые, ничего не скажут, но если бы ты...

Девушки первыми встали у остановки трамвая. Алеша засуетился, забеспокоился: он не ожидал, он никак не предполагал, что мы куда-то идем, он был уверен, что мы будем ходить по улицам за полночь.

– Слушайте, слушайте, – заговорил он, обращаясь ко мне и к Косте. – Приходите завтра сюда! Опять на выставку! Я и девчонки – мы ведь и завтра придем... Поспорим, а? Володя, приходи! Костя! Ну что вам завтра делать? В воскресенье-то? Приходите!..

– Нет, Алексей, – сказал Костя, зевая. – Мы пойдем завтра на пруд! На какое-то подозрительное козье болото, где впору головастиков ловить твоей бородой, а не купаться.

– Это обязательно? Да? Ну а вечером? – Алеша смотрел на меня.

– Нет, Алеша... Завтра мы не сможем.

Алеша замолчал. Вдали показался трамвай, и Алеша глядел на него не отрываясь.

Костя, чтобы мы могли сказать пару фраз наедине, отошел к девчонкам и стал плести им какие-то небылицы. Они хохотали.

– Ты хоть приходи ко мне, а? Ну приходите вместе с Костей, – попросил Алеша. – Приходите на днях...

– Хорошо. Обязательно, Алеша.

Он глянул мне в лицо. Глаза его мягко светились:

– Ты не забыл наш язык? Рыцарский? Помнишь?

– Помню.

Это был язык, на котором разрешалось говорить только о прекрасном. Довольно выпренный язык и совсем невеселый.

– А откуда вы сейчас?
– Да так... С танцев, – сказал я резко. Я чувствовал неловкость и был даже рад, когда увидел трамвай.

2

Было яркое воскресенье. С утра пруд лежал зеркалом, правда, несколько зеленоватым. Мы прошли этот вытянутый овальный осколок до конца, обходя лежащие спины, ноги, пиная прыгающие к нам волейбольные мячи.

– Болото как болото, – миролюбиво заметил Костя. Мы улеглись позагорать, и в нас бросали камешки совсем юные девушки, расположившиеся неподалеку.

– Сегодня, кажется, коров сюда не пустят? Говорят, стадо не придет, это правда? – озбоченно спросил их Костя, и вот теперь они бросали камешки.

Я глядел вверх, на солнце, которого мы никогда не коснемся. На плывущие легкие облака. Странно жить, когда ты уже добился чего-то, тем более если ты добился всего лишь собственной средненькой задачи. Так, немного, казалось бы, нужно еще. Приглашай эту наивную и круглоглазую, которая, осмелев, прыгает на одной ноге через Костю и на которую тот не обращает ни малейшего внимания. Приглашай ее сегодня в кино. Начни ходить к ним в совхоз на танцы, наведи контакт с их парнями, чтобы нечасто били. И женись. Сейчас таких молоденьких и круглоглазеньких полным-полно. Природа словно заспешила, создавая их одну за другой. И одну лучше другой. Немного боязно жить в такое время, когда природа вдруг начинает спешить... Куда ей спешить?

– Костя, – сказал я, вдруг почувствовав необычную расслабленность, – я знаю, что мы кое-что добьемся и имена какие-никакие, возможно, у нас будут. Но вот что я, Белов, способен буду помогать миру, народам... Это как-то смешно, как-то не так. Я способен решать задачи, помогать тебе, но это... Как бы сказать. В общем, если я не потяну, сойду с круга или если я не выдержу... словом, если ты останешься один, спеши без меня, Костя...

– Опять пошли слюни, – вздохнул он с укором.

Потом я плыл. Вода была с землистым, но не отталкивающим привкусом. Ладонь и мои пять пальцев ярко оранжевели от пронизывающего воду солнца. Я вдруг увидел, что Костя машет с берега, делая руками крест-накрест. Резко повернув к низкорослым камышам, я взобрался, отдуваясь и балансируя, по скользкому берегу.

– Где они?

– Там, – сказал Костя, махнув рукой, – сидят красавицы. Животное привели, чтобы внимание привлечь!

– Где?.. – Я осмотрелся и наконец заметил в пятнадцати шагах от нас, в той же самой горстке девчат, Адель и Свету; я поначалу искал их слишком далеко. Среди девчонок они были явно свои, но все-таки с ними был пудель. Пудель, совершенно белый, составлял центр группы.

– Красивый пес, сила пес! – сказал я. – А что? Они и эти девчонки... они вместе?

– Ну да.

Костя нервничал. Девушки не хотели нас замечать, даже не кивнули. Растираясь, я стал обдумывать, как к ним подойти.

– На месте придумаешь, – сказал Костя вдруг, обернулся и швырнул мелким камешком в пса. Я только глазом моргнул, а пудель уже подпрыгнул на месте. – Иди, иди! Не для моей же это гордости, сорвусь и все испорчу, – сказал мне Костя.

Пес обиженно лаял. А Костя лежал на песке, равнодушно уткнув голову в ладони. Это уже совсем никуда не годилось.

– Иди. Не подкачай... – вдруг хрипло, так, что у меня екнуло под сердцем, сказал он.

Я улыбнулся. Я похлопал его по спине, представляя, с какой энергией я сейчас вцеплюсь в разговор, в любую мелочь, хоть в хвост пуделя – лишь бы удержаться, лишь бы постараться ради этого хриплого «не подкачай».

– Я для начала похожу около. Не волнуйся, – сказал я, но автоматически двинулся прямо на группку. Мельком глянул вперед: пес свое отлаял и теперь тихо скулил. Две левых руки гладили его белейшую шерсть.

3

Адель было шарахнулась от моей облупленной комнаты, от визжащей, как обезьяна, дешевой радиолы, но кое-как мы усадили девушек за стол.

– А где же ваш товарищ? – скривила губы Адель.

– Приедет. Он сейчас приедет... А вон какая-то машина! – Я сорвался со стула и кинулся к окну. – Наверное, это он подъезжает.

Адель и Светлана с Костей подошли за мной к окну. По дороге, что левее нашего дома, лениво ползли фары. Лениво и тяжело-тяжело, тонн в двадцать. Костя рассмеялся:

– Погашу вам свет, а то не разглядите.

Адель тревожно оглянулась на Свету. Я почувствовал, что мгновение напряженное: Адель явно хотела уйти... завезли за тридевять земель и еще смеются! И свет сразу гасят! Адель смотрела на Светлану и ждала только малейшего знака, чтобы засобиранься. Я тоже смотрел. Но Светлана вдруг улыбнулась.

– Что вы забеспокоились? – сказал Костя своим твердым голосом. – Садитесь-ка за стол. Да не опрокиньте что-нибудь!

А я удивленно все смотрел на Светлану, на ее лицо, освещенное настольной лампой. Это было превращение. Светлане уже хотелось быть здесь. Да и у Адели поубавилось манерности, она тоже вслед за подругой держалась проще. Происходило обычное узнавание.

Костя разливал по стаканам вино. Под действием вина, музыки и некоторого доверия все повеселели.

Я успокаивал Адель:

– Он скоро приедет. Хотя все возможно. Может, он разбился? Такой лихач – просто жуть! Тем более радость первого обладания машиной.

– Но он приедет?!

– Лихач он, Адель. Все может быть.

– Я лично не удивлюсь, если он разобьется, – сказал, деловито нарежая хлеб, Костя.

– Жаль будет. Правда, Костя?.. Только купил машину, еще и товарищей не покатал, и вот вам! Разбился...

Мы смеялись. Светлана смеялась тоже. Когда брала хлеб, она, как и все, сначала довольно быстро протягивала руку, но ее пальцы брали не сразу – они легко касались хлеба, мягко трогали его и брали осторожно. Она жила в большой тесной семье и, очутившись здесь в тепле и тихой музыке, чувствовала себя не как в обычный вечер, а скорее как на небольшом празднике. Я поражался тому, как это Костя угадал ее сразу.

Адель все сердилась: что тут смешного? Если вы врете, это нехорошо. Если машина разбилась, что тут смешного!

Вошла, постучавшись, Марья Трофимовна, моя соседка. Я у нее брал стулья – теперь она сама принесла вилки и еще пирожки с капустой. Я ведь сказал, что у меня будут гости по поводу моего рождения. Она поздравила меня и протянула кулечек леденцов. И привычно пригласила на телевизор. «Все приходите, если захочется. Будет концерт», – сказала она и вышла так же тихо, как и вошла.

– Так у вас просто день рождения? – чуть ли не возмутилась Адель. – Так бы сразу и сказали.

– Да.

– Да-а-а? – так искренне удивилась Адель, что все мы захохотали, и я вдруг ни с того ни с сего испугался, как бы Марья Трофимовна не приняла это на свой счет, на счет леденцов и пирожков. На меня находило такое, находило внезапно в самые обычные минуты – заскоками из голодного детства.

Адель дулась.

Мы танцевали. Моя настольная лампа опустила обмякшие крылья на стены. Две пары. На Светлану и Костю смотреть было необязательно. Костя был бледен. Она тоже была вся на нерве. Глаза Кости были полузакрыты.

Мы с Аделью тоже танцевали. Мы чинно ходили взад-вперед. Адели не нравилась моя комната, и я впервые вдруг понял, что моя комнатка бедна, давно не крашена и что не всякому здесь хорошо. Адель могла наговорить слишком много, и я позвал ее на кухню:

– Идем-ка сварим кофе.

– Ну ясно. Надо же дать им поцеловаться! – бойко сказала Адель, возясь на кухне с моей кастрюлькой и с кофе.

Она с неожиданной для меня готовностью и даже радостью приняла предложение постряпать. Она тараторила, что-то подчистила, что-то подскребла, вымыла и все время объясняла, как нужно варить настоящий кофе. Попробовав ложечку, я похвалил, нимало не лукавя.

– А какой я борщ готовлю! Не оторвешься! – обрадовалась она и заговорила, защебетала, и я видел, что она не хвастает, а скорее делится со мной чем-то дорогим для нее, очень важным.

Я простил ее под шум горящего газа. Я даже позволил себе разоткровенничаться с ней, стал говорить, какие у нас с Костей задачи и как здорово у нас сейчас все складывается. Я чуть было задачу не стал ей объяснять. Мы поболтали. Мы дали им танца три или четыре.

Когда начали расходиться, Адель в коридоре у вешалки подобрала закатившийся и забытый среди обуви автомобильчик – игрушку соседских детишек.

– Вот и машина, – сказала она, делая гримасу.

– Адель. Если хочешь, могу подарить...

– Эту? – догадалась она и швырнула игрушку куда-то в угол.

Автомобильчик жалобно звенькнул, и сердце у меня вдруг сжалось, как тогда, когда я во время смеха вспомнил о Марье Трофимовне.

Соседи давно спали. Мы тихо прикрыли за собой дверь.

4

Проводив их, мы ехали домой. Костя дремал на заднем сиденье. За окном была ночь. Я глядел в подрагивающее стекло: автобус тянул с собой в ночь маленькую толику бледного света, призрачно освещая лоскуты шоссе и канаву сбоку.

Я вспомнил Эмму. Начало года. Я упрасивал Эмму остаться и поиграть со мной в шахматы.

В лаборатории уже было пусто.

– Сам подумай, – говорила Эмма, – ну как я могу остаться? Я прекрасно помню, как ты однажды лапал меня. Это было раз, но все-таки было. Пока ты не придешь в себя, не встряхнешься, я не хочу и разговаривать с тобой. Предположим, я останусь. А вдруг опять?..

Я тогда даже задрожал:

– Что ты... что ты, Эмма.

Потом мы оставили шахматы. Не убрали, и маленькие фигурки в темноте цепенели на холодной доске в ожидании ночи. Мы подошли к окну в пустой лаборатории, которая уже

перестала быть лабораторией и стала похожа на любую вечернюю комнату. Я стоял опустив голову, а Эмма, привстав на цыпочки, приглаживала мне волосы и говорила:

– Ты не сердись. Уж так смешно получилось в жизни, что же делать? Мне тоже иной раз кажется, что родился ты чуть пораньше – может быть, и получилось что-то...

Она успокаивала, лестила мне, выдумывала все это, не колеблясь. Ей было жаль меня. И еще ей сладко было это состояние, когда я стою перед ней, как перед расстрелом, и она, Эмма, не без волнения говорит правильные слова этому маленькому мальчику.

Стороной текло время.

– Любишь и люби себе, люби. Только не подходи так... не надо... не надо смеха и шуток над тобой. Ты повзрослей.

Она долго, ласково говорила. Я слушал у окна, высунувшись в окно и свесив голову в пустоту, в ночь. На улице и в комнате было темно. Я повернулся на спину, и все перевернулось, и небо давило тьмой на мои глаза. Только и был виден скос крыши, мрачноватый, краями слившийся с ночью.

– Звезда зажглась, – сказал я.

– Правда? Где? А мне не видно.

Я помог ей, подсадив на мрамор подоконника.

– Видишь?

– А-а... такая малышка!

– И крыша вполнеба... черная.

– Что?

– Крыша черная...

– А-а...

Скос крыши нависал, темнел, пропадал. Теперь Эмма была рядом со мной и, запрокинув так же лицо кверху, смотрела на звезды. Я чувствовал близко-близко ее грудь, и слабенькое мое сердце стало трепыхаться, как холодная бледная медуза, попавшая вдруг в теплую струю. И я, конечно, не выдержал и осторожно положил руку на плечо, потом на грудь, тяжелую, как гроздь.

– Опять? – выговорила Эмма, и прошла минута, и я снял руку.

Москва вспыхнула. Огни зажглись, было около девяти, а может быть, больше: давно пора убираться из лаборатории. Я делал вид, что собираю листки, и ждал ее. Она стояла у зеркала, поправляя волосы, красивая, чужая.

Это был конец. Постепенно все улеглось. И уже через неделю-две в шуме и гаме обеденного перерыва я хладнокровно обыгрывал в блиц Эмму, равно как и других, и старался не вспоминать те оставшиеся среди ночи фигурки шахмат.

– Следующий! – выкрикивал я законным тоном победителя. Среди опьяняющего ощущения блица, шелканья блестящих кнопок, среди мельканья клеток шахматного поля и мозговых хаотических разрядов обыкновенными казались мне ее белые молочные руки, когда она садилась, дождавшись очереди, против меня и когда я «высаживал» ее вновь, не поднимая глаз.

5

Автобус летел.

– Ну? В каком ты сейчас пространстве и в каком времени?

– Так, – засмеялся я. – Эмму, грешным делом, вспоминал.

– Ясно, – сказал Костя и зевнул во весь рот. – Координаты зафиксированы. Как вспоминалось?

Я засвистал от нечего делать и нечего сказать. Автобус шел почти не останавливаясь. Проснувшийся от толчка, Костя опять спал. Автобус летел в ночь. Гудел мотор. Люди вокруг

спали, свесив голову, склонив ее себе на колени, изогнувшись на сиденьях. Усталые, натрудившиеся люди. Автобус мчал, мы с Костей мчали навстречу своему завтра, навстречу удаче, которая, год испытав наше терпение, стала поворачиваться к нам лицом. «А вдруг мы не успеем?» – мелькнуло в голове. Вспомнились газеты, разговоры о возможной войне, которые все чаще слышались в эти дни... Но усталость брала свое: голова моя, прислоненная к стеклу, покачивалась.

Покачивались плохо различаемые спящие люди, покачивалось все желтоватое тело автобуса.

Дома в коридоре я наступил на машинку, брошенную Аделью.

– Кому ты нужна, маленькая? – вслух спросил я, подняв ее. И продолжал: – Разве что какой-нибудь мальчик с пальчик тебя найдет...

Костя уже поставил кофе и раскладывал листы своей задачи.

– Монолог в духе Алеши? – засмеялся он. – Могу продолжить: обращали ли вы, о люди, когда-нибудь внимание, что Мальчик с пальчик – персонаж трагический, если забыть, что он всегда побеждает? Ведь совсем не просто быть маленьким, чувствовать себя маленьким и вызывать на бой великанов...

Я промолчал.

Я расставил раскладушку и расположился на ней. Вынул учебники, подаренные Петром, очинил карандаш. До четырех ночи мы трудились и ровно три часа оставили на сон. Спал я плохо: снилось, как отец горел в танке. Он горел и писал письмо домой. Танк полыхал пламенем, и сквозь мятущийся огонь я видел спокойное лицо отца, бегающую авторучку и удивительные пламенно-голубые буквы на бумаге. Буквы вспыхивали, трещали, как спички, и светились синим огнем. Отец говорил механику: «Вдруг мы не успеем?..» И сосредоточенно кивал ему головой механик. Оба писали письма. Домой.

Глава шестая

1

Я нажимал пуск еще и еще, не отрывая глаз от колонки цифр. Машина тарахтела, выдавая результаты. Я отдыхал минуту. Вокруг говорили о войне.

– Я бы доказал! Выверил и доказал! – кричал Петр Якклич, размахивая узловатыми руками. – Это были бы, братцы, уже факты. Разве не могла бы, скажем, НИЛ-великолепная произвести прикидку разброса... Смоделировать войну, как моделируют всякую игру, и оценить ущерб? А?

– Не верю я этим прикидкам, – спорил лысый майор. – Чтобы провести эффективную игру, нужно в достаточной мере рассекретить себя самого...

– Они бы и рассекретили. В пределах...

– Да. Но тебе об этом не скажут.

Петр рассвирепел:

– Ты, милый, узок и ограничен. Люди есть люди! И их не запихнешь в секретные портфели... Конечно, я не знаю учета объектов, их расположения...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.